



Владимир Шапко

# Семь повестей о любви

# Владимир Макарович Шапко

## Семь повестей о любви

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=30088702](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=30088702)*

*SelfPub; 2018*

### Аннотация

Семь повестей. Первая повесть – о любви-ошибке, приведшей к трагедии. Вторая – о безответной любви одинокой женщины к не совсем адекватному мужчине. В третьей повести один любит, а другой (другая) нет, но оттягивает разрыв. Следующая повесть о любви без обязательств. Пятая – о любви двух немолодых мужчины и женщины в лихие 90е. Шестая – о любви нездоровой, извращённой. И последняя повесть – о любви застенчивой, неуклюжей, где герой теряет заболевшую жену и умирает сам.

# Содержание

Ещё тёплые дожди	5
1	5
2	10
3	12
4	14
5	17
6	21
7	28
8	31
9	34
10	36
11	44
12	48
13	54
14	58
15	64
16	67
17	72
18	76
19	81
20	83
21	90
22	92

23	94
24	97
Графомания как болезнь моего серого вещества	101
1	101
2	104
3	106
4	108
5	111
6	114
7	117
8	120
9	126
10	130
11	135
12	139
13	142
14	146
15	149
16	155
17	159
Конец ознакомительного фрагмента.	162

# Ещё тёплые дожди

## 1

Похмельный язык во рту был как негр. Как мучительно обрусевший негр. *Дринк-вода!* – хрипел. – *Дринк-вода!* С жалобным тоненьким стоном Луньков начал поворачиваться. Диван, как неотъемлемая его часть, как нутро, тут же взнялся весь и застенал ещё жалобней, плаксивей. Набрякшие веки тряслись, боялись выронить глаза. Рука слепо шарилась внизу возле дивана графин.

Запрокинувшись, пил тухловатую воду. Голова тряслась, зубы колотились о стекло, вода сливалась по подбородку на шею, на грудь. Словно разучившись, долго ставил графин на пол. Рука хваталась и хваталась. Лёг, наконец, на спину, шамкая смоченным ртом, зализывая разбитую соленую губу. И дальше – будто висел. Вне времени, вне ярящихся на соседней стройке самосвалов и грузовиков, вне стрёкота крана оттуда же, вне людских голосов, вне жизни.

И, как почти каждое утро, заскрежетал в замке ключ. И в Лунькове вновь всё затрепетало, затряслось. Зажмурившись, он вдавился в диван. И слушал только пыльные, вздрагивающие пружины.

А Кошелев уже ходил по комнате, совался во все углы,

распинывал бутылки. Будто упорно искал что-то на полу. Мелкое, давно утерянное, но не забытое. Ругался.

– Эй, Заварзин! – грубо трягнули Лунькова. – Заварзин! Охрана чёртова! Вставай! Опять жрал всю ночь... А может, письма свои писал, а? Заварзин? Ха-ха-ха!

Луньков, колотясь с головы до пяток, ещё скидывал ноги с дивана, поспешно сел, а прыгающий взгляд его уже хватывал валяющийся на столе стакан с пролитой и подсохшей буро-чернильной лужей, резкое серебро килек, перемешанное на тарелке, и, как трубу, высокую тёмную бутылку из-под портвейна... Тетради на столе не было...

Расстегнувшись рукавом рубахи Луньков вытирал со лба пот. Как прикрывался грязным обтрёпанным рукавом. А Кошелев всё ржал:

– Что-о? Испугался? Сразу вскочил? А-а! Ха-ха-ха! Да ладно: шутю, шутю, как говорится... Сегодня же день расплаты. А, Заварзин? Шестнадцатое. Забыл?

– Мне бы умыться, Роман Авдеевич... Извините.

– Умойся, умойся. Обожду.

С гадливостью Кошелев поширкал тряпкой засохшую винную лужу. Накинул на неё газету. Только после этого разложил свои бумаги. Протирая платком очки, смотрел на размывшийся в ведомости список фамилий, так же размыто слушал шум воды из коридора, наизнанку выворачивающегося над раковиной в кашле Заварзина... «Ханурик! Сдохнет тут ещё чего доброго...»

Полотенце выглядело чернее сапога. Луньков посмотрел и вытер только руки. Кинул в угол на мешок с театральным тряпьем. Стал искать пуговицу на обшлаге рубахи. Поверх очков Кошелев внимательно наблюдал. Пуговицы не нашлось. Тогда Луньков застегнул две пуговицы на груди. Сел к столу. Кошелев с хохотком крутнул головой: ну алкаш! Пододвинул ведомость, ручку. Шариковая ручка сразу начала скакать в руке Лунькова.

– Эко тебя! – наморщился Кошелев. – Да погоди! Не расписывайся!.. На, глотни сперва...

Минут через пять, глотнув из плоской посуды Кошелева, которая, как валидол, всегда была при нём, особенно когда он приходил за *росписями*, Луньков шарил вялой рукой окурок в пустой консервной банке. Пьяно разглядывал фамилии в ведомости:

– Конуров... Шишин... Свирьков... Так, понятно. Новые души. Только что из реанимации. Я – Заварзин. Я по вашим корочкам гениальнейший машинист сцены. Со мной всё ясно. А эти? Кем они могли бы быть в миру?.. Конуров... Конечно, народным. Народным артистом. С такой фамилией-то? Непременно. Да и аванс у него однако!.. Шишин... Трудно сказать... Что-нибудь такое: ши-ши-ши – по коридорам. Каждому – на ушко... Свирьков... Свирьков только гримёром мог бы быть... Эдаким гримёришкой... Эдаким ма-ахоньким лысым пьяницей...

– Ну хватит! Расписывайся!

Но Луньков не торопился. Окурок попал в руку сигаретный, сильно замятый, задавленный. Луньков его принялся углублённо расправлять.

– Да на вот! На! – сунул пачку сигарет Кошелев.

– Вы же не курите! – деланно удивился Луньков. – А тут смотрите-ка, опять «Стюардесса»! Чудеса-а...

Кошелев скрипнул зубами.

– Ну, вот что, сволота, будешь расписываться или не будешь?

Луньков сразу потух, взял ручку. Следя за протрезвевшим его, злым лицом, за уверенной, злой ручкой, Кошелев подумал: кончать надо с ним, много знает, гад, слишком много...

Выхватил ведомость.

– Вот так-то!.. А это гонорарчик вам, товарищ Заварзин! Ровно четыре рублика...

Кошелев комкал рубливки и – по одной, жёваными – кидал на стол. Одну, вторую, третью, четвертую. За каждую душу отдельно. Три плюс вы, товарищ Заварзин. Четыре мертвых души. У нас как в аптеке!

Луньков не смотрел на него.

У порога Кошелев «вспомнил»:

– Да-а, а как с корочками быть?.. Ну-ка верни, уважаемый, корочки-то... Всё забываю...

Луньков сразу вскочил, умоляюще шагнул:

– Ну зачем вы так! Роман Авдеевич! – Как женщина ломал руки: – Я же... и не пошутил даже. Нет! Так просто сказал.

Так! Мне ведь в Щекотихе без них – нельзя. Вы же знаете. А там дрова опять пришли. Опять работа. Да и здесь. Ведь сторожу. Ничего не пропало. И не пропадет, не пропадет! Поверьте!.. Не надо, Роман Авдеевич. Прошу вас... Не надо...

– Смотри... – глянул понизу Кошелев – как перерезал Лунькова. – Знай, с кем шутишь... З-заварзин!..

Хлопнула дверь. Замерев, Луньков слушал бухающую поступь с крыльца. Сердце выпукло возникало за грудиной и пряталось. Выталкивалось и снова пропадало.

## 2

В белесом куцем плащишке и тирольке он появился на крыльце *впритык к одиннадцати*. Пока шарился длинным ключом в мешковине двери, морщась смотрел в небо на мелко сеющий дождик. Затем привычно перевёл взгляд на мёртвый пустой остов театра, где из чёрных оконных провалов выкрутился когда-то страшной силы пожар... К театру недавно кинули разудалый забор, за забором сновали люди, дергался, стряхивая песок, самосвал, с разбортованного грузовика скидывали длинные свежие белые доски, высоко подносил бадейки с раствором кран, и всё видящей, всё запоминающей хозяйкой пыжилась возле бытовки сторожика.

Луныков сутулился, поднимал-поддёргивал вороток плаща, пробираясь к калитке. Везде валялось содранное с крыш театра обгорелое кровельное железо. Постаревшая стопа фанеры, завезенная и брошенная, уже фардыбачилась. Высокий навал из уцелевших оконных рам и дверей опасно разъехался. И всё это мокло сейчас, продолжало гнить, ржаветь. И непонятно, для чего оно сохраняется здесь.

– Эй, сосед! Погоди-ка!

К забору торопилась сторожика со стройки. Запыхавшаяся, с чайником.

Поздоровалась, попросила набрать водички. У нас-то водопровода пока нету. Набери, сделай милость.

Луныков сходил, набрал. Когда протягивал полный чайник, качнуло от забора так, что чуть не опрокинулся, оступившись прямо в лужу. Отряхивал брюки, плащ. Избегал глаз сторожихи. А та не уходила, разглядывала его.

– Что-то я тебя не припомню, парень. Ты из какого отряда?

– Я не от вашей... системы... По совместительству...

– А-а... Ну-ну... Уж в случае с водичкой-то, к тебе теперь я...

– Пожалуйста.

Под цепким взглядом женщины Луныков старался лужи обходить деликатно, порядочно как-то, что ли. Однако словно бы тащил за собой меркнувшее дыхание своих слов: не от вашей я системы, по совместительству...

### 3

Через час сидел у стола, свесив с края вялую руку. Смотрел в окно за забор, где всё так же дергался с задранным кузовом самосвал, где той же всё видящей кубышкой напыживалась сторожиха... Крепко зажмуриваясь, пил из стакана. Слепым ртом ловил словно бы подвешенную кем-то кильку. Жевал, морщился, икал, удерживал лезущее назад вино, наливаясь кровью и тут же бледнея. Отирал слёзы... Высокими изломанными буквами надёргивал в тетради высокие изломанные слова:

...и жизнь моя теперешняя, Люба, – сплошная ирреальность. Бред, морок. Глухая чёрная повязка на приговоренном, за которой уже – сжавшийся на острие иглы весь мир... Прости, прости мне эту пошлую метафору, но она всё время теперь во мне. Ползает, давит, душит... Прости...

Раскинувшись, он полулежал на диване, точно сломанный в груди. Зрачки пусто расширены. Иногда суживались. Он смотрел на портвейные три бутылки на столе. На фоне короткого сжатого заката высокие чёрные бутылки с коротенькими горлышками стали казаться ему трубами. Гигантскими газовыми трубами... Он качнул себя к столу. Упершись в столешницу, дико разглядывал бутылки. Во внезапном, су-

масшешдем прозрении прошептал: «Гигантские... легальные... винокурни... – Обернувшись, громко спросил у кого-то: – А?!» Его мотнуло от стола и с маху кинуло назад, на диван, затылком в стену. С перекосившимся от боли лицом медленно сползал, сдирая со стены известьку. Так же медленно полз по спинке дивана. Словно не отпускал боль. Словно забирался с ней в себя. Как в конуру. Легонько постанывал. Кувыркнулся на бок, охватив голову. Затих.

## 4

– Эй, Заварзин! – опять трясли, дёргали Лунькова на другое утро. – Заварзин! Мать твоя чекушка! Давно одиннадцать! Пора!.. Да Заварзин!..

Луньков быстро сел. Сын Кошелева Гришка уже бегал. Длинная женщина как всегда курила у окна. Отрешённо смотрела вдаль. Как индеец через века.

«Скальп чертов!» – бухая сердцем, торопливо застёгивался Луньков. Гришка ширкался ладошками. «Времечко, времечко, Заварзин! Поторопись!» Приобнял, повёл, насадил на Лунькова шляпку, вытолкнул на крыльцо. Луньков судорожно искал рукой рукав пиджака. Рука попадала в рукав плаща. Скинул всё на крыльцо. В шляпке, с незаправленной рубахой по колено, нелепый, дикий, тяжело дышал... Сзади резко высунулся Гришка. Уже в майке, волосатенький. «Вечером – чтоб дома! Как штык! Понял? Будешь нужен!» И захлопнулся, скрежетнув замком. «Гад!» – плюнул в отчаянии Луньков.

Часа через два он в неуверенности топтался на крыльце, не решаясь сунуть ключ в замок. Сжимались в ненависти зубы. Мутно, как из лужи, всплывала недавняя картина: длинно лежащая Скальп с бесконечно длинной голой ногой на спинке дивана и запрокинувшаяся, самозабвенно храпящая башка Гришки, прикрытая грудью Скальпа, как шляпой...

Луньков сбежал с крыльца, заметался по дворику. «Мерзавцы! Похотливые мерзавцы! Господи, куда-а?» Решительно направился к окну. Грубо застучал в стекло. Упрямо ждал. В комнате не шевелились. «Сейчас я вас, сейчас!» Забежал и заколотился с ключом в замке. Распахнул дверь...

Сразу ослаб. Качался в дверях, хватаясь за косяки. Войдя, стаскивал плащ. Не мог кинуть его ни на свой диван, ни на диван возле окна. Бросил на мешки с театральным тряпьем. Присел, наконец, к столу, вытирая со лба пот.

Глаза непонимающе натыкались на три мятые синюшные конфетные обертки на середине стола. И лицо Лунькова начало вытягиваться: «Так это в перерывах, значит. В трех перерывах. Скальп съедала по одной конфете...» Он сглотнул. И затрясся в полусумасшедшем, тихоньком смехе. И захохотал. И задергался, давясь хохотом. «В перерывах! Ха-ха-ха! Сорванные розы любви! Брошенные на стол! Синюшные розы Скальпа! Ха-ах-хах-хах!...»

...Вот, Люба, я всё пишу тебе эти письма, над которыми потешаются Кошелевы. Письма к тебе – к бывшей моей жене. Единственному даже сейчас родному для меня человеку. Да, да! Прости... Я не сумасшедший, я знаю, что ни одно из них я не вложу в конверт, не надпишу на нём твой адрес. Но сидит во мне, Люба, вера (а может, уже мания?), что однажды, когда-нибудь я напишу тебе, наконец, одно, Единственное письмо – и оно всё перевернёт в моей жизни. Прости за

высокие слова – подвигнет к чему-то. Очень важному для меня, единственному, может быть. И отступить тогда назад будет уже нельзя. Только вперед тогда, только вперед. Пони-маешь? Может, это чушь, бред, что так всё будет, но я верю, верю. Кроме этой надежды – ничего у меня нет...»

Луныков встал, подошёл к окну. Смотрел на спящее в мо-роси предвечернее небо, на мокнувший во дворе разброс.

...Вот смотрю я сейчас в окно. Опять сочит дождь. Вроде бы на улице промозгло, холодно, а под водосточной трубой, на краю бочки, полной воды, всю купается, разносит брызги пухленький воробей. И, знаешь, представляется мне, что глядят на него сейчас с крыши другие воробьи, тужатся от холода и чирикают меж собой: ну не дурак ли этот воробей? В такую погоду!.. А он и знать не желает, что промозгло, сыро, что осень давно висит кругом, ему – дожди еще тёплые... И поддает водой, и разносит!.. Ну не молодчаги ли воробей?

Невольно Луныков обернулся. Словно поделиться радо-стью с кем-нибудь... Сразу погас. Медленно вернулся к пу-стоте. Убирал со стола тетрадь, ручку, два обгрызенных ка-рандаша, исписанные обрывки газет. Запрятывал всё в меш-ки с театральным тряпьем.

Он вскользнул в комнату. Новый персонаж. Шофёр Роберт. Словно за ним гнались, искали. Постоял, вслушиваясь. Острокадыкастый, как голодный. Будто просто на стул, накинул на Лунькова спецовку. Прошёл, открыл дверь в коридор. Опять замер, высоко задрав руку к выключателю...

Луньков торопливо вдевался в спецовку, с удивлением следил, как Роберт рыскал по коридору и зачем-то часто-часто дёргал стеклянные ручки на дверях закрытых гримёрных. То ли открыть пытался, то ли испытывал, крепко ли прибиты. Пустил для чего-то сильную струю из крана в раковину. Закрыл кран. Нырнул в дальнюю комнату. Слева. Открытую. Где навалены старые декорации. И быстро-быстро полез по ним, треща и проваливаясь, к единственному в комнате, почти под потолком, окошку.

Вернулся, наконец, обратно в комнату, сшибая пыль с брюк и пиджака. И вновь замер, голодно вслушиваясь. То ли к себе, то ли к чему-то внешнему, за стенами... Наконец, словно отбросив решение недавней задачи на потом, как-то злопамятно, радостно просветлел: погоди же-е!.. И пошёл к двери, на ходу скороговоркой лая будто только для себя одного «пошли-пошли-пошли!» и выдёргивая из заднего кармана ключи от машины, как оружие. И всё это – точно в пустой комнате, точно и нет никакого Лунькова в

ней. «Артист!» – метнулся за ним Луньков.

Подперев свет, как хиленький душ, в кабине грузовика застывши сидел Кошелев старший. Словно терпеливо смывал перед дорогой давно намыленное, неотвязчивое... Луньков усмехнулся: «Понятно. Встреча в верхах предстоит. – Прикрывал калитку, закладывал вертушок. – Встреча на высшем уровне. Потому сегодня – сам!»

Грузовик катил по широкому оврагу вниз к огонькам Нижегородки. Будто с фонариками, по холмам скакали домишки. Справа, слева.

Но внизу, на месте, в окнах дома на бугре – темно. Из кабины вглядывались. Неожиданно взнялась зарница, и сразу сторающей стрекозой затрепетала над крышей антенна. Грузовик подал вперед и, круто разворачиваясь, полез к дому задом, кидая Лунькова от одного борта к другому. Немые, пошли раскрываться ворота.

В глубине двора, под переноской в низком гараже, забитом мешками и ящиками, угрюмо ждал хозяин. Свет вылоснил только лысину, лица – не было; толстые руки закруглены – как для драки.

Так же угрюмо пошёл к нему Кошелев. Обнялись, как ударились. Сильно хлопали друг друга по спинам. От ударов икали. Роберт рыскал по гаражу...

Оврагом навверх машина тащилась с натужным высоким

воем. Для передышки хватала другие скорости, взрѣвывала, снова натужно выла. Отделяясь от горячего зудения мотора, из кабины вылетали обрывки фраз, возгласы, смех. «Довольны. Пошабашили. Кто кого только на этот раз надул?» Лунькова болтало на тугих мешках с цементом. За шиворот к потной спине уже лез озноб. Луньков садился, охватывался руками. Покачивался – как думы свои покачивал...

...Люба, он имя его всегда выговаривает так: «РобЭрт»... А «РобЭрт» его: «Афдеч! Афдеч!». Понимай: Авдеич. Как сглатывает в нетерпении. Голодный, обжигаясь... «Афдеч! Афдечь! У меня тѣща не каблирована. В Песчанке. Каблируй, Афдеч! Пять сотен и сверху!...» Или: «Афдеч! Афдеч! Люстры у Фрола! С висюльками!» И рванули на грузовике к Фролову на базу. Завхоз и шофер погорелого театра. Два друга. Не разлей вода. Даже два «сваяка» теперь. Ты понимаешь, о чем я? Понимаешь – «сваяка»?

Луньков начал подхохатывать.

...И «сваяками» я их сделал, я. Я жене Кошелева Роберта подсунул. Невольно, конечно, но я, Люба, прости... Но не для тебя это, не для тебя... Но невозможно же вспоминать об этом!

Луньков хохотал, охватывая голову. Как плакал, рыдал.

Удивленно из кабины постучали. К решетчатому окошку сунулся Роберт: ты чего, чего, Заварзин?.. Увидев вытянутое лицо с раскрытым ртом, Луньков совсем зашёлся в смехе, катаясь по мешкам.

Но быстро прошло в нём всё. Иссиякло. Вернулся озноб. Луньков нахохлился, зажался. Смотрел на обмирающие, тонущие огоньки Нижегородки. Воспоминание, от которого так смешно было минуту назад, уже смятое, словно выпотрошенное, теперь только болталось с грузовиком, саднило. Отчаяние зашло в глаза Лунькова, и одного только хотелось: закрыть глаза, зажать уши и не вспоминать, не думать...

## 6

Полтора месяца назад, в начале августа, Кошелев впервые повёз Лунькова к себе на дачу. «В сад», как он сказал. Нужно было выкорчевать два пня, оставшихся от спиленных недавно берёз.

Ехали загородным автобусом. Потом шли по лесу. Кошелев пыхтел, отирал пот, крепко поминал сына Гришку, который под каким-то предлогом отбрыкался и не повёз на дачу. Луньков задирает голову к перелетающим птицам, запинался о корневища деревьев, отовсюду напоздших на песчаную дорогу. Замерев от восторга, следил за стукотливым дятлом... Снова торопился за Кошелевым. Лицо Лунькова раскраснелось, глаза радовались.

Но когда за лесом вышли на поле в овсах, озираясь по бескрайней, белой знойной его тоске, безысходности, ждало горло Лунькову каким-то предчувствием. Шёл. Мучаясь, смотрел за поле. На покатый длинный взгор. Где к высокому звонкому сосняку, как к храму, пополз, басурманином множил дачный посёлок.

Кошелева дача влезла прямо в сосны. Был это обыкновенный с виду дом – одноэтажный, небольшой. (Правда, непонятно было: деревянный он или кирпичный?) Какая-то приземистая крыша, две трубы из кирпича, побеленные, но уже закоптившиеся по бокам... Внизу – штакетниковая невысо-

кая городьба... Но, глядя на широкие окна в самодовольном покойном тюле, Луньков сразу подумал, что внутри наверняка и вместительно, и просторно... и богато.

– Генриетта, вот это тот самый Заварзин, – с удовольствием подчеркнул два «т» в имени жены, сказал Кошелев. Как коня, похлопал Лунькова по загорбку.

За штaketником на низкой скамеечке стояло железное корыто, полное воды и огурцов. Над ним колыхалась крупная женщина с задирающимся сзади платьем.

– Ага, – только и сказала она, мельком взглянув на Лунькова. И снова стала сгребать и раскидывать. Страстно сталкивались в корыте крутые волны. По загорелой до черноты сильной руке ёрзала слетевшая с плеча резко белая лямка лифа.

– Моет... для засолки... – самодовольно смотрел на мощные высоко загорелые молодые ляжки жены Кошелев.

Ввёл, наконец, Лунькова во дворик.

Обогнули дом, шли вдоль длинной веранды, туго заполненной солнцем. Остановились перед высоким сараем. Через открытую половину широкой двери в темноватом прохладном провале угадывался у стен «товар», прикрытый брезентом. «И гараж, и склад», – отметил Луньков.

Кошелев сам выбрал и вынес две лопаты. Штыковую воткнул перед Луньковым в мягкую траву, совковую – вручил. Вынес топор. Но подумал и приставил к стене. Выволок и бросил лом.

Сада, как такового, почти не было. Был больше огород. С тремя теплицами, где как лес стояли помидорные кусты с краснеющими плодами. Со смородиной и малиной вдоль штакетника, с широко разбросанной зеленью грядок, где ерошилась морковь, закоренелыми лысыми пьяницами валялись огурцы, черепно высох мак, желтел, вылинивал укроп. И опрятный вишнёвый кусток с горстками взвешенных налитых ягод – стоял восклицательным знаком всему.

Неподалёку от будки летнего душа с высоко взнесённым ржавым баком вышли, наконец, к двум пням, выкорчевать которые доверили Лунькову.

День был высокий, синий, ветреный. Гуляли, бегали, как освободившиеся аэростатики, чадливенькие облачка... Откинувшись руками на прохладную горку земли, под корни пня вытянув ноги, по пояс раздетый, белый, блаженно щурился Луньков на солнце, которое, словно лёгкие, беловато-сизые одежды, подхватывало охвостья туч. Подхватывало и отпускало... Водя носом и закрывая глаза, Луньков ловил запахи, прилетающие от спелого сосняка за домом...

Вдруг увидел, что на него смотрит женщина. Жена Кошелева. Сразу схватил лопату. «Очень интересно она цепляет прищепки на бельё – глядит на меня, а прищепки словно сами собой взлетают из таза и цепляются на веревку... Генриетта... Хм... Это уже закономерность какая-то у Кошелева. *Робэрт... Генриет-та...* Интересно: на сколько лет она моложе Кошелева? На двадцать? На двадцать пять?»

Под взглядом женщины Луньков казался себе сильным, мускулистым, ловким. Он поддевал ломом, резко дёргал пень вверх. Тот не поддавался. А женщина стояла – и он ещё дёргал. Ещё. Распрямлялся. Как атлет, вдыхал побольше воздуха и выдыхал медленно, тряся руками. Освобождал мускулатуру. Снова накидывался. Теперь уже с лопатой. Подрывал и подрывал. Однако пни сидели крепко. Тогда, как только женщина с тазом ушла, стал потихоньку подрубать корни. Лопатой. Не выкапывать, как приказал Кошелев, а подсекать, рубить. И к обеду выворотил, наконец, один из пней. И только через час – другой.

Курил, сидя на краю ямы. Смотрел на закинувшиеся мохнатые пни. Судя по мощным корневищам, по толщине этих пней, спиленные берёзы были большими, зрелыми. Но не на тот огород попали они... Вернее, сам огород влез сюда. И свёл их.

Пришёл Кошелев. После обеда расположенный. Ковырял в зубах спичкой. Сплюнул. Лунькова похвалил. Ямы... (снова сплюнул)... велел закопать. Уходя, сказал:

– Ты это, Заварзин... Мы уже пообедали. Как закончишь, зайди в дом. Генриетта там. Покормит тебя. На веранде, я ей сказал. А я к соседу схожу... Ополоснись, если хочешь. Вон, в душе. Правда, вода, наверно, холодная.

Вода обожгла. Но чуть погодя Луньков уже задирает лицо и с наслаждением слеп под мягко секущими струйками.

Кто-то зашёл в будку. Луньков подумал, что Кошелев. Но

спросил: «Кто там?» С намыленной головой и лицом. Сзади молчали. Луньков торопливо стал смывать мыло. Обернулся... Бесстыже, отчаянно на него смотрела женщина! Генриетта! Большая грудь её в сарафанных цветочках вздымалась, напыленный рыжий парик съехал – рогато торчал! Луньков быстро прикрыл пах, отвернулся, зажался. Щёлкнула задвижка на двери. «Что вы делаете!» – «Тихо ты! Молчи!» Схватила за руку. Прислушалась. Точно приглашая и его, Лунькова, в разговор, в игру. И неуклюже, грузно повалилась на решётку вниз, дёрнув Лунькова на себя.

Из мокрого большого елозящего тела Луньков панически вырывался. Как вырываются из трясины. Закидывал голову и чуть ли не вопил.

Его отбросили в сторону: «Урод!»

Один, он валялся на деревянной решётке. По вытарашенным глазам хлестала вода, промывая их до дикости, бессмысленности вареных яиц...

Он вскочил, бросился к скамейке с одеждой. Быстро стал одеваться. Выглянул наружу... Короткими перебежками, как заяц, перебежал к даче, не зная, с какой стороны обогнуть её, чтобы юркнуть к калитке. На веранде никого не было.

Вдруг увидел Генриетту. В раскрытом сарае. Торопливо, зло, она сдёргивала с себя сырой сарафан. Вверх! Обнажая ягодицы будто воздух!.. Луньков зажмурился, кинулся вдоль дома, упал на траву, вскочил, сиганул мимо калитки через

штaketник.

Он скользил вдоль дач. Дачи подбоченивались. Дачи скалились мансардным стеклом. Он отворачивался к соснам. И стволы рябили. Луньков охватывал голову. С ходу налетел на ведро воды возле крупного старика в пижаме, отдыхающего на тропе. Старика обдало по ногам водой. Луньков подхватил-поставил ведро. Быстро улыбнулся старику. И старик потрясал вслед кулачищами и хлопался ртом, как калошей: «А-бар-мо-от!..»

Через три дня Кошелев сказал:

– Съездишь, Заварзин, завтра на дачу. Генриетте поможешь. Новую полку ей там надо поставить... В погребке...

Луньков вздрогнул: да что это она! Да ей же в морге только работать! Вслух поспешно проговорил:

– Невозможно, Роман Авдеевич – фобия!

– Чего это ещё?

– Боязнь замкнутого пространства... У меня... Могу заметаться там... В погребке... Банки побью.

Кошелев с подозрением смотрел: шутка, что ли? Брезгливо скривился:

– Э-э, интеллигент... «Фобия»... Как орден какой. Тьфу! Озаботился. Недовольный, хмурый.

– Робэрта, что ли послать?

– Вот, вот! Роберт в самый раз!..

Кошелев опять прищурился.

– ...И полки сделает, и ни одной банки не разобьёт, – по-

спешно успокоил его Луньков, мечась взглядом. Опасаясь только одного – не засмеяться, не захохотать ему в рожу...

А тогда, вернувшись в город, уже в своей сторожке, боясь до конца осознать всё то гадкое, непереносимое, что сотворили с ним на даче, сидел Луньков у стола словно с одним засаженым в голову окриком – «А-абар-мо-от!» Набегали и набегали лёгкие слёзы алкоголика. Луньков пригибал голову к плечу, отирался рукавом рубахи. Снова застывал. С высокими – как у слепого – глазами...

...Есть люди, Люба, одинокие люди, которые вечерами, когда едят какую-нибудь жалкую свою еду – сырок ли, кефир ли там какой, булочку с чаем – то они словно винятся перед кем-то за то, что едят... Они ведь одни, Люба, одни! Никто их не видит!.. И вот – винятся. Поверь, жалкое, тяжёлое зрелище... И я сознаюсь тебе, Люба: к таким людям теперь принадлежу и я, Игорь Луньков. Твой муж, твой бывший муж... Они виноваты уже в том, что живут на свете! Они заедают чужой век!.. Ох, прости, Люба, меня, прости. Тяжело мне сегодня. Прости...

...Машина шла уже в городе. Улетали назад сутулые фонари. Высоко зависали ройные остывающие многоэтажки. Луньков раскачивался на мешках, подтягивал коленки к груди, охватывался, зажимал руками дрожь. Из кабины всё вылетала голодная скороговорка Роберта, самодовольно, баском, похохатывал Кошелев.

Чтобы как-то забыть унижение, заглушить непреходящую боль, Луньков зло бормотал: «Да-а, дядя, не повезло тебе с твоей Генриеттой. Всё ты рассчитал в своей жизни. Всё продумал, наперед вычислил. А вот с женой – промашка вышла. Хотя и с именем она подходящим для тебя – *Генриет-та!*.. То в летний душ её неодолимо тянет, то – уже в погреб!.. Ты, наверное, дядя, сам над погребом-то стоял? Спрашивал: как у вас там дела, Робэрт? Может, подать чего?.. Гордись, дядя, женой, гордись!»

Протащившись с очередным мешком по коридору до костюмерной, свернув в раскрытую дверь, Луньков с облегчением сбрасывал мешок на пол. Взрывалась цементная пыль... Луньков выпадал обратно в коридор, покачиваясь, шёл, смахивал пот. Но с крыльца торопился, а к калитке уже бежал. Крючковой сильной лапой, – за ухо – выдёргивал Роберт очередной мешок на край кузова. Брезгливо накидывал его на Лунькова, отряхивая ладонь о ладонь. И Луньков, при-

гнувшись, как таракан, семенил к крыльцу, вскарабкивался на него, за освещенной комнатой пропадал в коридоре.

Двое у машины ждали: Кошелев угрюмо, сунув руки в карманы плаща, Роберт – озираясь по проулку, нервно похотывая:

– А, Афдеч?.. Ха-ха!.. Никого? Да? Афдеч? Ха-ха! – Будто еще напряжения в Кошелева нагнетал. Дополнительно. Нарочно.

И дождался:

– Таскай!

– Так Афдеч! Спецовки нет!

– Мешок возьми. На голову!.. Учить тебя? Живо!

Чертыхаясь, шофёр побежал в театр за мешком. А Кошелев словно выдохнул, наконец, всё скопившееся напряжение. Недовольно уже, даже требовательно смотрел в сторону клуба на углу. Где во весь фронтон висел человек с откатным лбом дамбы и звездами на груди. И откуда из дверей должны были вот-вот повалить зрители после фильма. Не сидят, понимаешь, дома. Черт бы их задрал!

Дверь костюмерной закрывал сам. Подёргал стеклянную ручку. Проверяюще. Как Роберт.

Красные десятки Роберту выпускал на ходу. Двумя пальцами. Как визитки. Роберт хватал, мгновенно совал в карман. Ещё хотел, ещё. Чтоб так же! так же! Афдеч!.. Кошелев глянул: «Меру знай!»

Один рубль валялся на столе. Жевком. «Такса, Заварзин!

Твоя!»

Пригнувшись с тяжёлыми сырими кругляками, по гулким мосткам с баржи поторапливались, бежали люди. На берегу сбрасывали дрова. В накинутых на головы мешках, как монахи, неприкаянные, вековечные, шли к барже. По одному ступали на другие, жиденькие, сходни, и дождь, постегивая, осторожно заводил их на высокий борт баржи – и они пропадали где-то в трюме.

В первой же носке Луньков сбил себе бок. После мостков, беря с дровами на подъем, он припадал на ногу, старался как-то ужимать бок, защищать...

– Что кряхтишь, Заварзин?

Рядом вверх лез Кукушкин. Кривоногий, приземистый, сильный. Весь – будто из железа.

– ...Скажи спасибо, что не берёза. Когда берёзовый кругляк пойдёт – не так закряхтим.

Но уходя с Луньковым к воде, удивленно воскликнул:

– Да ты, парень, бок ссадил! Ну-ка дай сюда! – Он стал выдёргивать у Лунькова из петли заплечника сучковатую палку. Луньков послушно дёргался. – Интеллигенция... Это палка, по твоему? (Отшвырнутая палка запрыгала по гольцу.) На вот мою. Да брезентухой оберни.

– А ты?

– А у меня ещё есть. – Кукушкин хитро подмигнул: – Вон

– на судне...

На «судне», нагруженный кругляками до неба, Кукушкин кричал:

– Мужики! Вот бы на туристов-то! Такие рюкзачки! А? Со всего Союза согнать, каждому на горб – и айда. Да в гору! Да бего-о-ом! – И он сбегал по мосткам. И так же шустро бежал «в гору». Возле складывающих дрова женщин в изнеможении падал. Артель ржала: «Ну, Кукушкин! Ну, балалайка!»

Луньков сидел на сухом подтоварном настиле, в столб упершись спиной. Над рекой опять ходили, чёрно копились тучи, но вода шла тихо, вымытая до стеклянной глади предыдущим дождем, и только осторожно ласкала тупорылую баржу с круто выпущенной из ноздри толстой якорной цепью. Луньков курил, смотрел. Думал о своем, нерадостном.

Застыл на пятках Кукушкин. Остриженный, круглоголовый. Проникшись тихим настроением Лунькова, старался из бутылки запускать в себя без глотков, тихо. Вроде бы вполне серьёзно – жаловался: «Ну, выпил в тот раз. Ну как? – заусило. Да сильно. Побегал в гастроном. Просыпаюсь – отрезви-и-итель. (Он широко повёл рукой с бутылкой. Словно очертил ею весь мир.) И я в нем, значит. Да прямо посередине. Посреди раскиданных алкашей лежу... Вот так, Заварзин, бывает. И не алкаш, ни-ни, честный – и хватают... – Он отхлебнул: – Что скажешь, Заварзин? – И, видя, что Луньков дёргается, мотает у колен головой, в поддержку ему, в одоб-

рение очень частенько смеялся: – Хахахахахахахахаха!.. А, Заварзин? Хахахахахахахахахахахаха!»

Луньков уже гнулся, давился смехом. Но Кукушкину мало: «А это когда судили меня, судили! Слышь, слышь, Заварзин! В 72ом! Обвинитель. Еврей. Рыжий. Распахивает так на меня рукой. Перед судом. И с сокрушением так говорит: «Ну какая у него жизнь? Каждый день пёт, пёт. Домой приходит – пьяный... Жену бёт, бёт и бёт... А с утра опять пьяный!..» А, Заварзин? Хахахахахахахахахаха!»

И оба заходились в хохоте. А глянув друг на друга, сваливались с настила на песок и начинали уползать по нему, дрыгая ногами.

И сквозь слёзы, смех, хохот этот дикий казалось им, что всё-то они друг про друга знают и давно знали. Что судьбы их одинаковы и неразличимы как жабы. Что квакают они им, а потом глотают, и всё до конца заглотить не могут. И смешно было от этого – непереносимо.

Потом им закричали с баржи, и они шли к воде. Отряхивали с себя песок, прятали друг от друга глаза.

Словно тоже отобедав, упал дождь. И выплясывал лихо русского на высоких чёрных горбах уже бегущих по мосткам людей...

В притемнённом уюте ночной комнаты, у настольной лампы возле окна готовил уроки мальчишка лет десяти. Он каждый вечер так для учебы располагался. Прилежный, старательный.

Луньков смотрел на него через проулок, и снова пощипывало глаза... Растроганный, открыл калитку.

Однако в темноте сторожки – вздрогнул. С забившимся сердцем протыкался на цыпочках к двери в коридор, приложился ухом. Как из-под земли сквозняк вытянул в щель невнятный, но сразу узнанный голос Кошелева. Потом забубнил Гришка, сын его... Луньков опустил на стул.

Нужно было к крану с водой. Освежиться, смыть пот, постирать майку, рубашку. Решился пойти минут через десять.

В коридоре невольно остановился у полуоткрытой двери в одну из гримёрных.

В тесной комнатёнке, сильно освещённой с потолка большой лампой, у распахнутых трёхстворчатых зеркал, пригнув головы, сидели Кошелевы. Отец и сын. Тихо, монотонно, точно псалмы, отец считывал цифры, беря их через очки из клеёночковой тетрадки, что раскрыто лежала на столе. Сын же не очень умело цифры эти в калькулятор – вдавливал. Осваивал, получалось, новую оргтехнику... С висящей гроздью ключей, на тумбочке у стены стоял небольшой сейф...

Вздروгнули оба. Разом. И... словно размножились в зеркалах. Десятки там стало Кошелевых. Казалось, сотни! В анфас! в профиль! в очках, без очков! с раскрытыми ртами! в испуге привставших! в испуге откинувшихся!..

– Чего тебе?! – выкрикнул Гришка.

– Ничего... Извините. Добрый вечер.

Луньков пошёл дальше, к крану. А в комнатёнке, как пыль в перепуге – всколыхнулось всё: «Х-ха! А? «Добрый вечер»! А? Сколько я тебе говорил! А? Отец? Не боишься?» – «Честный... Интеллигент...» – подрагивал баском, приходил в себя Кошелев старший. «Ну-ну. Смотри. Я тебя давно предупреждаю: не место тут сейфу, не место!» – «Не каркай!»

...Люба, как всё же могут быть похожи, до отвращения похожи друг на друга близкие, но некрасивые люди. Отец и сын... Оба в щеках, как в лепёхах. Бровастые, низколобые. Бобрики у обоих – как скребки. А по уму, Люба!.. Один, как говорится, «мы академиев не кончали!» Другой – вышел уже на интеллект троллейбусного парня, дорвавшегося-таки до микрофона: «В салоне работают две касс-с-сы! Друженько раскошелимся, друженько! Не стесняемся! Не смущаемся! Па-апрошу!..» Гос-по-ди-и!..

Луньков лез головой под кран, глушил всё холодом.

Прикрывшись углом дома от уличного фонаря, неслышным вором ходила по комнате и вязала чёрные мешки темень. Луньков лежал на диване, руками охватив затылок, и глаза его, точно взведённые в темноте, опять мучились, не могли уйти из этой комнаты, не могли ничего забыть...

Кошелев старший заявился тогда поздним вечером. Со всем не ожидаемый Луньковым. Заявился пьяным. Его точно втолкнули в сторожку и захлопнули дверь. Не замечая вскочившего Лунькова, покачивался. Положение свое обдумывал. Сопел. Без шляпы, с исцарапанной щекой, в мокром распахнутом плаще, под которым только майка и пижамные штаны... В тапочках... Начал ловить рукой и выдернул из кармана плаща бутылку. Уже с дивана, мотнув ею, приказал: «Открыть!» Налитые полстакана водки заглотив враз. Долго осваивал её в себе. Потом как-то внутренне оживился и забормотал: «Ах ты, стерва! Вот так стерва! Ну молоде-ец!..»

Чтобы не молчать, чтобы снять как-то неудобство свое перед пьяным, Луньков спросил, что случилось.

– А тебе зачем? – вскинулся Кошелев. – Твое какое дело?! – И прищурился: – Смеёшься?..

– Да ведь я... я хотел...

– Смотри-и!.. Ты на себя глаза разуй!

И брезгливо морщился, глядя на склонённую голову

Луныкова. На его белеющее темя. Сквозь зачесанные реденькие волоски... Будто просто сплюнул:

– Червь книжный белый!..

И сидел со сцепленными на животе пальцами. И всё возвращал обиженно взгляд к Луныкову. Как к тле какой-то. Которую бы и размазать, да руку лень отцепить.

Начал похохатывать. Как-то издалека:

– Ты посмотри – в чьё ты одет. Брюки – мои, пиджак задрипанный – Гришкин, кеды – и те Генкины. Генриетты. С да-а-ачи, ха-ха-ха! Шляпчонку вон бывшую мою ещё надень, интеллигент! Хах-хах-хах!

От смеха он наливался кровью, кашлял.

Луныков метался взглядом. Вскочил, трясущейся рукой наплескал в стакан, выпил, снова сел.

– Во! Во! – тыкал в него пальцем Кошелев. И с разъехавшихся мокрых губ его студенисто вызуживалось: – Алыка-аш! – И снова разевал пасть и, хохоча, зажмуривался: – Ха! Ха! Ха!

Оборвал всё резко. Будто и не смеялся. Сидел, угрюмо варил своё. С низкой стрижкой – обрезанный, как кувшин. Выкинул руку со стаканом: «Налить!» Выпил. И от выпитого – снова словно вышагнул из себя мрачного. Откинулся на диван перед Луныковым, свесив руку с пустым стаканом со спинки.

– Вот смотрю я на тебя, Заварзин, – ну какой ты бич? Ты в стае должен быть, в вашей стае, а ты – один. А?.. Насолил

ты, видно, чем-то своим бичам, ох, насоли-ил... Откололся. Сбежал... Отщепенец ты, Заварзин. Этот... как его? диссидент... Бутылки ты не собираешь – брезгуешь, десятички возле гастрономов не клянчишь – гордый, а на работу – так хоть среди ночи разбуди. Какой же ты бич, Заварзин?.. Хотя ты-то и есть натуральный *бывший интеллигентный человек* – б и ч. Но не бич, нет – не бич... Думаешь, случайно я тебя в Щекотихе заметил? Любого мог взять из кодлы тамошней, а взял – тебя. Мне Гришка: смотри, отец, смотри-и... А я ему: червонец оброну – не тронет. Как пёс слюной изойдёт – не тронет. Честный. А? Заварзин? Верно я говорю? Н-ну!..

В отчаянии Луньков ждал, когда Кошелев опьянеет, когда упадёт. Но тот и не думал падать. Потребовал закуску. Кильки с тарелки запускал в развёрстую пасть горстками. Закидываясь. Жрал прямо с головами. Отбросил пустую тарелку. Отирал пальцы об обивку дивана. Опять пил. И вновь словно только трезвел от водки:

– Хочешь, я расскажу про тебя? Про тебя – тебе, Заварзин?.. Ну, первое дело – жена скурвилась... Точно! Н-ну!.. Ей бы в морду да из дому вон – так ты сам на край земли бежишь... А дальше просто: хлебнул воли, по горло хлебнул, назад? – а ходу-то и нету. – Кошелев прищурился: – Где паспорт пропил, Заварзин? Расскажи. Поделись. Н-ну!

– Я же вам говорил. Украли...

– Э-э! Мели знай! Водка тебя сгубила. Водка. Вот эта самая... Вот я – уважаю её. Часто уважаю. И на ногах. В уме.

А почему? А потому – корень у меня другой, Заварзин. Корень. Корень хозяина, крепыша. И всегда так будет: есть дубы, и есть всякий сор вокруг них, который на дрова стригут. Понял?.. У тебя жрать – нечего, а журнальчики вон, полный угол – покупаешь. Два института, поди, кончил... И посмотри теперь: кто – ты, а кто – я! Н-ну!..

Луныков сидел, лицо его пылало, в глаза набегали слёзы.

Вдруг голова Кошелева опустилась, шумно засопела – и рот разъехался... И с тоской уже думал Луныков, что придётся спать с дремучим этим человеком в одной комнате, что завтра нужно будет идти звонить, потом ехать к нему домой за одеждой, говорить, видеть его Генриетту... что протрезвившись, не простит Кошелев ему, что предстал перед ним, Луныковым, в таком свинском виде... Что сравнялся с ним в падении.

Голова Кошелева вдруг вскинулась, он поводил бессмысленно глазами. Просипел: «Гришку...» – и снова как разъехался.

Луныков пошёл звонить. Потом потихоньку ходил на крыльце, не решаясь вернуться в комнату. О висящую над проулком тарелку с лампочкой убивался и убивался мотылек. Прилежный мальчишка в окне через дорогу ещё готовил уроки...

Гришка приехал на своих «Жигулях». Кругом обошёл машину. Кинулся, потряс задок. Только после этого пошёл к

крыльцу.

Увидев отца – в замаявшемся плаще, в тапочках, с пучком царапин на щеке... беспомощно полулежащего, точно придавленного своим животом, – Гришка в сердцах воскликнул:

– Ну, отец, драть тебя некому!.. Когда ты её погонишь?

– Но-но! – сразу очнулся Кошелев. Посопел. Пообещал зло: – Вот запишу на неё всё, попрыгаете тогда... Н-ну!

– Да не пугай – пуганые... Ну-ка, Заварзин!..

Они подхватили под руки сразу одубевшую тушу. Потащили.

Возле машины Кошелев вдруг перестал качаться. Трезво, въедливо прищурился опять:

– Так чем ты насолил бичам своим, а? Заварзин? – и замотал указательным пальцем: – Кошелева захотел провести? Шаль-лишь! – Но снова как оступился в пьяный газ: – Смотри!.. Будь верным! И я подумаю насчёт тебя. Я всё могу! Знай!.. Верным будь!.. – Полез в машину: – Вези, Гришка!

Уже на ходу, опустив стекло, стал развевать за собой по проулку песню:

*Э ды на побывку ы-еде-ет мол-лодой мор-ряк!*

Гришка сразу затормозил. Придавив певца, зло поднял стекло. Поехал дальше. Немо, с удивлением певец поворачивался к водителю. Скрылись за углом.

В ту ночь Луньков долго не мог уснуть. Ворочался, перекидывался на бок. Вновь замирал на спине... Потом, как не раз бывало с ним, в полусне ли, в полуяви вышел в тёмную степь далёкий костёр.

Лунькова сразу повели к нему, крепко держа за руки. Вставала против красного разгара высокая полынь, раскачивалась с землей, словно падала на колени. И неузнаваемые, словно из других веков, из многодавних тысячелетий, кинув руки к земле – шли впереди, стаптывая, ломая эту чёрную полынь, бичи.

Лунькова вытащили на освещённую поляну перед костром. Заломили руки, за волосы вывернули голову: смотри!

Сразу же, будто прямо из ревушего костра, выполз по поясу голый Борода и стал совать к огню отобранный у Лунькова паспорт. Всё ближе подносил, выкрикивал: «Что, Луньков, хотел, чтоб справедливо? Хотел, чтоб было братство? Вот тебе «братство!» Вот тебе «справедливо!» Размахивал уже схватившейся огнём картонкой: – «Горишь, Луньков! Гори-ишь! Нет больше Лунькова! Не-ет!» – скалилась оплавленная морда бывшего пожарника.

Мотыльком полетел в костёр догорающий паспорт Лунькова. Палкой Борода стал выкатывать из костра много белого жару. Угли притихали чуть, но тут же зло оживлялись, сбиваемые палкой в кучу.

И был истошный крик:  
– Крести-и-и-и-ить!

Луныкова ударили под колени, сломали к земле. Тащили к углям, выламывали руки, пинали, сдирали штаны...

– Сажай его, гада-а-а! – визжал Борода. – Крести-и-и-и-и!..

– Не-е-е-ет! – закричал Луныков и выметнулся из сторожки не помня как.

Ветер гонял по двору дождь. За забором на столбе болталась лампочка под колпаком... Луныков хватал и хватал ртом налетающую мокрядь.

Утром, измученный, тащился он к проспекту и всё складывал спасительные для себя строчки:

...Сегодня ночью я опять вспомнил старое, кошмарное, жуткое. Но о нём я никогда не смогу тебе написать. Такое нельзя рассказывать нормальному человеку. Женщине. Любимой. Такое слушают только равнодушные. В судах, в психиатричках. Любимым это – нельзя... Но как могут растоптать человека! Люба! За то... за то, что он ещё человек... за то... что он... Ох, прости, Люба, прости, не о том я тебе сегодня. И слёзы вот уже опять рядом. И выпить бы. И пиво вон из гастронома несут... Но хватит, хватит. Попил. Хватит. Только к работе теперь, Люба, только к работе. В Щекотиху. К баржам...

Луныков заторопился к отходящему автобусу. Влип в пе-

реполненное его нутро.

Уже неделю Луньков работал в Щекотихе. Не пил. Утром, как по будильнику, вскакивал, быстро умывался. Сходя с крыльца, видел, что с пустым чайником торопится сторожиха, слышал её паническое «сосед! сосед!», сам бежал к забору, выхватывал чайник, набирал ей воды. Перекинувшись несколькими словами, спешил к калитке. И дальше проулком к автобусам.

Баржи с дровами шли и шли. К каждой по утрам толкалось немало новых людей, но бригадир, пробираясь в толпе к сходящим, всегда сам говорил Лунькову: «Ты – в бригаде». И это радовало Лунькова. Как радовало и то, что дровам, работе нет конца.

Мускульная упорная работа алкоголь из организма выгнала. Луньков уже не задыхался, не обливался десятую потами – подсох, окреп, бежал с дровами по мосткам с упругостью стальной пружинки. Кукушкин даже еле поспевал за ним. Не мог отдышаться, скидывая дрова у штабелей. «Ну ты даешь... Игорёк!» Луньков смеялся. «А ты, Ваня, не пей!»

В обед Кукушкин опять тарахтел. Что тебе коробок со спичками. На жизнь свою смотрел как только что проснувшийся и высунувшийся из кровати младенец. «...Просыпаюсь – а они уже на разложенном диване. Играют. Мне быстро бутылку кинули, заглотил, просыпаюсь – Машка одна. Улы-

бается... Присни-илось... А? Заварзин? – И он смеялся. Как всегда торопливенько. Словно уже летя с горячей крыши. Полыхайчиком: Хахахахахахахахахаха!.. А это ещё, дальше, Заварзин! Ночью... Иду – он стоит. Машкин хахаль! Я ему р-раз! Он стоит. Только мотнулся. Что такое? Я ему раз! раз! Опять стоит! Оказывается – в дупель пьяный... А-амба-ал... Тут – мне – Машка – бутылку – кинула: просыпа-аюсь – на полу я уже. На цементном: с нар слетел. Камера! При-исни-илось... А? – И опять летящим полыхайчиком: – Хахахахахахахахаха!»

Луньков лежал на подтоварнике, на настиле, смеялся вместе с Кукушкиным. Но постепенно голосок того куда-то сдвинулся, тархтел словно бы в стороне, и Луньков, охватив затылок, уже мечтательно щурился на обессиленную после дождя простоквашу неба.

...Люба, какое счастье вновь обрести себя. Ощутить всего себя. Ощутить каждый мускул, мышцу. Чувствовать всю крепость, свежесть своего тела... Ведь я забыл уже, что мне только тридцать... И всё это – работа. Работа в радость, в очищение...

Как никогда, он верил в эти дни, что скоро всё изменится у него, круто повернётся. Даже приходя после Щекотихи вечерами в сторожку, приходя всегда усталым, голодным, разочаривая бумагу с какой-нибудь едой, – он брезгливо сма-

живал на пол синюшные конфетные обертки и жаловался жене. Жаловался уже как человек, который вот пришёл домой, пришёл после тяжёлой работы, а тут... опять эти бумажки!.. И почти ежедневно кидаются они ему на стол! До каких пор? Будет ли покой рабочему человеку?

...Люба, поверишь? Ведь у него двое детей. Дво-е. Девочка-школьница, а мальчик ходит в детский сад. Молодая жена. Молодая!.. И – эта Скаल्प. Этот индеец в юбке... Как понять таких людей? Что это – любовь? Скотство?.. Ведь работают вместе. Он – прорабишка, она – бухгалтер. Замужем. Тоже, наверное, дети есть. И как вот это всё... совмещается?.. Да-а, людишки... Или ещё один экземпляр. Роберт. Тоже – совершенно непонятен. Впервые встречаю человека, у которого тёща, понимаешь? тёща! не сходит с языка. Не жена – тёща! «Афдеч, тёщу каблируй! Афдеч – мешок гречки для тёщи! Афдеч – тёще тёсу! Тёще – цветной!» И вот телевизор тёще цветной везёт, тёс и гречку. И «каблировщика» в придачу... Да что там за тёща такая! Что за любовь такая к тёще? Где у него жена? Жена? Есть ли она?.. И ещё: «Ох и ручечки, ох и ручечки, Заварзин!» И мечется, дёргает стеклянные эти ручки на дверях гримуборных... И ведь дня не проходит! Как это понимать? Ненормальный?.. «Ох и ручечки, Заварзин, ох и ручечки!» Да оторви ты их, раз жизни без них нет!.. Прости, Люба, раздражён я сегодня. Тут приходишь с работы, а тебе... опять «розы любви» на столе...

Да ещё синюшные! Прости...

После ужина Луньков выходил на крыльцо. Окинув себя плащом, садился на ступеньку. Доставал сигареты... Задувало в сизом холоде одиноко тлеющие сентябрьские звёздочки. В ночном окне через проулок из притемнённого уюта комнаты к прилежному мальчишке склонялась женщина в прохладном ласковом халате. Тенью к сыну присаживалась. Свет лампы, замерев в высоких, взбитых ко сну волосах, освещал чистое лицо матери... Сын быстро охватывал мать. Всю-всю!.. И снова старательно продолжал выводить в тетрадке.

## 12

В то утро уже привычно Луньков спешил к остановке. Ки-сеи дождя умывали кучерявые, как русские праздники, наличники деревянных домов. Сплывала чистая вода с промытых до щербатин тротуаров, кипела на дороге.

Сами собой складывались строчки к жене:

...У нас ещё тёплые дожди, Люба. Словно очищающие землю. Врачующие её. Даже грязи вокруг как-то не замечаешь. Только тёплый дождь и тёплая парная осень по деревьям и земле... Удивительная осень в этом городе, удивительная...

Сойдя с автобуса на конечной, пошёл по вымытому булыжнику под уклон, к тонущей в дожде реке. Слева, прямо от дороги, лезла в гору деревянная промокшая Щекотиха.

С неба сильно прибавило – дождь ударил с длинным косым промельком. Шумок поднялся в ржавеньких яблоне-вых садах. А Луньков шёл, мок, улыбался.

Возле раскрытых железных ворот в товарный двор находилась Кукушкин. В великом, явно с чужого плеча пиджаке, в сатиновых каких-то шароварках, как в спустивших гондолках; драповая промокшая кепка свисала в виде хоботка...

Увидел Лунькова, сразу заспешил навстречу. Не поздоровавшись, быстро повёл его от товарного двора.

– Слушай, Игорь! Не ходи туда. Облава. Милиция. Дружинники. Без документов – налево, как говорится. Конец квартала – недобрали.

Торопливо шли.

– Но как же так? – бормотал Луньков. – Ведь я ему платил. Ведь семь рублей из десятки... Ведь он обещал!

– Кто? Бригадир-то? Он наобещает. Он с вас, бедолаг, шёрстку-то и стрижёт... Да и участковый в деле.

Остановились. Ждали чего-то, горбясь под дождем. Кукушкин, словно боясь обидеть, осторожно стал «объяснять»:

– Всё дело в паспорте, Игорь. В паспорте. И тут уж – никуда. Я вот и пропойца – а паспорт, прописка. Да и здесь, на товарном, в штате. Грузчик... Так что ноги в руки – и айда, Игорёк. Мой совет.

К Лунькову подступили слёзы.

– Спасибо, Ваня, спасибо. – Неожиданно для себя тонко выкрикнул: – Век... век не забуду! – И от этих не своих слов – заплакал.

– Ну что ты, Игорёк. Не надо. Зачем? Подождёт – приходи. Скоро хозяйева со всей Щекотихи хлынут – знай дровишки развози! И никаких ведомостей. А потом – пилить, колоть... А? Приходи!

– Спасибо, спасибо, тебе, – всё бормотал, всхлипывал Луньков.

Кукушкин смотрел на уходящего к Щекотихинской горе Лунькова. Потом зачем-то снял тяжелую мокрую нелепую свою кепку. Непонимающе разглядывал её... Как убить птицу, перекинул через забор.

Стриженный, круглоголовый, избиваемый дождём, пошёл назад, к раскрытым воротам.

Луньков не совсем отчётливо помнил, как вернулся в город... как почему-то опять очутился на той же остановке, от которой полчаса назад поехал в Щекотиху... Дождь прошёл. К канализационной решётке, скручиваясь в жгуты, летела грязная вода. В тихие лужи на тротуаре втыкались одиночные капли.

Подошёл автобус. Безотчётно Луньков двинулся к нему. Но у раскрытой двери стал. Потирал лоб, словно не мог вспомнить что-то...

Его отшиб в сторону толстый мужчина с красной папкой, неуклюже, бегемотом, полез в дверь.

Луньков пошёл прочь. Посмеивался, хитро поглядывал на встречных сумасшедшенькими глазами.

...Люба, – он влез. Он с красной папкой. Понимаешь? Он успел. А твой поезд, Заварзин, ушёл. Давно ушёл. А наш поезд летит! Мы в поезде!.. А? И везде пресловутый поезд... А надо ли? Люба? Поезд-то, может, давно под откос летит... Но несутся, колготят, радуются. С трибунами, графинами,

докладами. Орут песню: мы в поезде! Наш паровоз, вперед лети!..

Мы же все флюгерки! Люба! Искренние, трепетненькие флюгерки! Только бы дунуло откуда чуть – и подхватились радостно в пустопорожном ветерке: мы все летим! В коммуне остановка!.. Вторичны мы. За нас всё решают. Мы ждём только. Головками вертим. Улавливаем дуновеньица. Ветерки. Чтобы преданненько затрепетать...

А сколько на земле работы, просто дел, а не пустопорожней этой трепотни. Вон, в Щекотихе... И там нельзя, оказывается, мне. Зато все: «В поезд! В поезд!» – вытаращив глаза... «Уйдет! Ухо-о-одит!» Эх, Люба...

Часа через два он сидел на небольшой театральной площади, на скамейке, перед зданием странной архитектуры. Полупровалившимся к тому же в овраг. Здание имело название «Институт культуры». Стилизованные светильники были при нём – как пажи при пьяной голове Шекспира в шляпе... Луньков замороженно смотрел...

...И не то страшно, Люба, что в жизни моей теперешней начнут копаться чужие равнодушные люди. Копаться, как в грязном белье. Что полетят запросы на бывшую мою работу, в паспортный стол, к тебе... Начнутся всякие очные ставки, опознания... Заполыхает тихонькое злорадство сослуживцев, знакомых. («А вы слышали: Луньков-то – вот это

да-а...» Обрадуется твой чёртов Михалев...» Да что мне до них! И стыда у меня перед ними нет. Как их в моей жизни и не было. И не страшно, Люба, что – посадят. Просто посадят, в конце концов (Не зря же время милиционеры потратят, разыскивая меня?) Страшен стыд твой за меня. За мужа такого... Стыд перед собой, перед подругами, соседями... Перед гадом Михалевым... Вот это для меня страшнее смерти...

Девушка в больших прозрачных очках шариковой ручкой «посадила» Лунькова в планчик зрительного зала крестиком. Потом медленно стала надписывать ему билет на сеанс. Рядом с девушкой отложена была сиреневая книга. Луньков, постукивая пальцами возле коробочки в кассу, прочёл буквы вверх ногами: «Ж. П. Сартр. Слова».

Уже подавал билет на входе... и быстро вернулся к кассе. Заглядывая словно бы за стекло, пытался что-то понять в планчике на столе перед девушкой. И уже понимал, уже открывал в нём неожиданную, проступившую закономерность – ни один крестик не соприкасался с другим. Каждый был отдельно. Каждый в крохотном, но отдельном пространстве. Раскиданы были они. Все раскиданы. Как на карточке спортлото!..

Девушка, оторвавшись от книги, подняла глаза, которые как-то бережно стали покачиваться за сильно увеличенными стёклами очков. Как в физиологическом прозрачном раство-

ре... Луньков быстро улыбнулся ей. Отошёл.

«Так-так-так, – бормотал, лихорадочно соображая. – Значит, чем больше теперь в кучу, тем дальше друг от друга. Даже в кинотеатре!..»

Как и ожидал – человек двадцать мужчин и женщин были раскиданы по всему залу. Как фигуры шахматные по демонстрационной доске. И над всеми свет промелькивал – словно руки. Словно руки шахматиста, спрятавшегося в будке!.. Луньков вертел головой, не мог успокоиться.

Лишь к вечеру он брёл своей улицей к сторожке. Окна домов, так радовавшие его утром, уже не казались праздничными – облезлая зелёная и белая краска на резьбе окон высохла, шершавилась, стекла зачернели, стали тайными. Да и деревья вдоль дороги без дождя поблекли, висели тряпками.

...«Да он же ленту на магнитофон поставить не умеет! Магнитофонную ленту! Включить магнитофон не знает где! Как!..» Дескать – недотёпа. Что с него взять?.. Это ты, Люба, – обо мне. Гостям... А те в хохот: ну не козел ли этот Луньков! И где только произрастал?

Ну, конечно, когда твой Михалев, взгромоздясь, наконец, на индивидуальный стульчак в баре, стал смаковать Свой Кальвадос... то сразу с верхотуры-то и зреть стал ширше, и вникать глыбже... Он обрёл свободу. Полную. Внутричерепномозговую!.. Ну просто же всё, граждане, единоличный каждому унитаз в баре, да чтоб повыше он был, под потолком, свой кальвадос – и свобода. Вот так, Луньков!.. Или: четверо молодцов насилуют, избивают гитары на эстраде, а тысяча у ног их – как одуревший планктон... А? Свобода же, братцы! Раскованность полная! Пада-бада-тиба-да-да-та-а!.. А ты, Луньков, козёл. Не дорос до нас. Пада-дада! А наш ударный магнитофонный эксгибиционизм? Луньков?

Тиба-дада! Бывало, выставишься в окне с магнитофоном – и вся округа от тебя балдеет! Тада-дада! Слабо тебе?.. Козё-ол...

Эх, Люба, ущербно это все, жалко. Ведь убери от такого «меломана», что называется, объект, людей убери (скажем, отправят вдруг всех на картошку... весь город!), и тут же вырубит свой магнитофон. Тут же вырубится!.. Голову можно на отсечение дать! В полном смущении утихнет... У него же слуха на музыку нет. Вот в чём его беда. Подлинного слуха. Извращено всё... Но зато: пада-бада-тиба-дада-та-а! Да круглые сутки чтоб!

Ну а я?.. Куда уж мне. Вырос я (как ты считала и не раз подчёркивала) «в полнейшей ни-ще-те». И мать у меня была – матерью-одиночкой. И родила меня в свои сорок два года («Ужас!»). И так называемого отца я в глаза не видел. И на магнитофонах я не играл – не было у меня их просто, как и телевизоров. Всё верно. Но не нужны они нам были. Понимаешь? Не нужны. Мы читали. Книги. И тем счастливы были... А вся ваша барабанная маскультурка тарабанькалась мимо нас. Для нас ее просто не было. Не существовало...

Признаюсь, Люба, тебе ещё в одном своем «тяжком» грехе: долгое время я избегал смотреть телевизор («Ну и козел, Луньков? Вот козё-ол...»).

В классе восьмом ещё я как-то возвращался поздно вечером домой из школы. Тоже осень была. И вот вошёл уже в свой двор – и остановился как вкопанный: весь двухэтажный

развесёлый коммунальный дом наш – как замер: из всех окон вверх закинулись сизые отсветы. Из всех, до единого... «Ты будешь говорить?! Отвечай!!» – вдруг проорали все окна разом. И опять только сизое из них, как из поддувал...

Я ближе подошёл – увидел всю семью Кононовых. За окном, в первом этаже... Они как затонули в этом мёртвом свете. Затонули как в денатурате. Неподвижно, нереально, навечно. И сам Кононов, и жена его, и бабка, и трое кононят впереди на стульчиках... И тут меня, что называется, «пронзило»: да ведь сейчас, в эту самую минуту, в эту самую секунду тысячи, сотни тысяч, миллионы Кононовых и кононят... по деревням, сёлам, по городам, по всему Союзу вот так же сидят и мерцают в этом денатурате, заполнившем комнаты... В одно время, в одну минуту, в секунду! Понимаешь?... И мне стало страшно... И я избегал этой мертвечины. Долго избегал. Не признаваясь себе – боялся. Как боятся некоторые люди – с детства боятся – попов, церкви, нереальной атрибутики внутри неё, всяких там обрядов, отпеваний, служб... Понимаешь, боялся, что она, мертвечина эта, проникнет в меня. Напитает, отравит. Сделает вот таким же мерцающим болваном...

Надо представить только это, Люба... Суррогат, стереотипы, конформизм – на небывалом потоке. На сверхконвейере. Представить только надо...

Конечно, скажешь, чокнутый, шизмен. Но сейчас во время родной нашей всемирной бомбы каждый ходит, наверное,

по краю своего безумия. Каждый ждёт, нутром ждёт – эту висящую над ним, готовую вот в следующий миг сорваться, всемирную, последнюю свою секунду... Вот таковы, так сказать, этюды обыденной нашей жизни... Но трясется, пляшет, воеет ваша маскультурка. А заодно «спасается», на перепуганного Бога, как на заложника, насадив хипповый, весь в бубенцах, пиджак... Эх, Люба, не туда пляшете...

У калитки стоял грузовик. Роберт сидел на крыльце сторожки. Курил.

– Где болтаешься? Час жду...

Поехали в Песчанку.

Холодильник Луньков втащил в частный дом, в комнату, тесно заставленную мебелью. Опуская его на подхват Роберту, вяло подумал: «И здесь склад. Только мебельный...»

– С японским агрегатом, мама, с японским! Бар будет теперь, бар! – лаял Роберт тёще, закатывая холодильник в простенок между сервантом и ещё сервантом.

Личика засуетившейся как ветерок тёщи Луньков разглядеть не смог. Да всё и так ясно. Чего тут ещё! Налетая на шифоньеры (два, три ли их тут!), вышел.

Когда вернулись в город, Роберт остановился у гастронома. Видя, что Луньков взялся за ручку, чтобы выйти, придержал: «Погоди...» Вытянул сигарету, пачку подал Лунькову. Прикурили от одной спички. Роберт устало облокотился на руль и неожиданно задумчиво, без обычной своей чечётки, заговорил: «Жаль мне тебя, парень. Честное слово, жаль. Ведь халупу-то твою скоро ломать начнут. Крышу снимать. Внутри всё переделывать. Надстраивать два этажа... Нужда в тебе отпадёт. Куда пойдёшь? (Луньков напряжённо молчал.) Кошелев тебе не говорил, конечно. И не скажет. Зачем?»

Выкинет в последний момент. И «заварзин» твой кончится. А тут – зима, морозы... Куда?.. Да-а, худо твое дело. Худо. Нарочно, как говорится, не придумаешь... (Луньков всё не поднимал глаз, забыв про сигарету.) Документы тебе надо, парень. Настоящие документы. Для этого деньги нужны. И не малые. А вот где их взять?.. Тут думать надо, парень. Крепко думать... – Роберт сделал несколько затяжек, повернулся: – Что молчишь? (Луньков не мог сказать ни слова.) Да-а, жаль мне тебя, парень, жаль. Недогадливый ты. На вот. Опохмелись...»

Машина рванула с места. Луньков постоял. Потом пошёл к гастроному. Робертовых денег было на три портвейна. Но что-то удержало Лунькова, и он не свернул к винному отделу, где уже перед семью, поглядывая на милиционера, острожненько подавливались мужички. Купил только батон и два плавленных сырка.

Ночью не мог спать. Он понял слова Роберта. Понял намёк. «Ведь он убьёт меня, если я помешаю. Убьёт! – металось в голове. – Вот тебе и «ручечки стеклянные», вот тебе и страстное дёрганье их почти каждый день. Он уже знает, где сейф Кошелевых. Он вычислил его!»

И – как жаром обдало: «Да ведь он... ведь он дал на три бутылки. На три! Значит – чтобы я был вверх ногами, а он в это время... Да он же сегодня придет. Сейчас!»

Луньков сел... И сразу же в двери царапнулся ключ. У Лунькова всё внутри оборвалось: дверь же закрыта! закрыта!

там ключ! (чуть не кричал) ключ! Ключ оставлен в замке!.. И тогда дверь потянули и пошевелили так, что задёргался крюк в петле.

Отчаянно Луньков вспорхнул в темноте. Замер... Вытянув руки, покачиваясь всем туловищем, как болванчик, прокрался к окну. Чтобы высмотреть, высмотреть!.. Тут же назад отпрянул – ведомый светом уличного фонаря, таким же болванчиком, точно свершая вдохновенную китайскую церемонию, кланялся с вытянутыми руками Роберт... В кепке голова остановилась, застыла прямо у стекла окна. В профиль. С открытым ртом слушала... Вдруг Роберт повернулся – и точно в упор глянул на распростершегося, словно под потолок подвесившегося Лунькова.

«Но ведь там дальше окно есть! Окно! Со стеклом! – маляся Луньков. – Ведь он там может влезть в окно! Зачем же он сюда лезет?!» Луньков всё ждал чего-то, не верил, надеялся. И сердце бухалось, лезло к горлу...

Из коридора костюмерных прилетел далёкий хруст стекла. «Точно! В окно полез!»

Луньков заметался. Искал чего бы в руку!.. Выхватил из-под стола портвейнную бутылку.

Сунулся в коридор. Резко выдохнул. Словно освободился от себя. И воздушно пропрыгал по темноте... Подкрался к выпавшему из раскрытой двери сизому свету. Заглянул...

За высоким навалом декораций, в окошке под потолком, ворочалась, чёрно запечатывая всё, тяжёлая тень. По стеклу

чем-то елозили. Стамеской или ножом. Уже отгибали гвозди!

Безбоязненно как-то Луныков вошёл в костюмерную. С разведенными в стороны руками. Как бы спрашивая у кого-то: да что же это такое? И про бутылку в правой руке забыл.

А стамеска уже пела на высоких тонах, деловито счищая замазку. И непроизвольно Луныков вдруг стал подпевать. Стамеске. Старался в лад. Мучился, как пёс, зажмуривался, кипел слезами...

Стамеска остановилась. Словно бы недоумевая, вслушиваясь. Луныков тоже оборвал. Оба ждали. Один снаружи, на окне, другой – внутри, внизу, в черноте бутафорской... И Луныков не выдержал – запел. Уже один. Забирал голосом выше, выше... «Заварзин! Заварзин! – забубнил было Роберт, прилипая к стеклу, пытаясь разглядеть. – Это я! Я! Роберт!» Но вместе с воем из черноты к нему уже летела, куврякаясь, длинная портвейная бутылка. И отбросило его от стекла, и взорвалось всё с неожиданностью и грохотом гранаты.

Луныков кинулся назад по коридору, в сторожку. Дрожа, высматривал Роберта в окно. Протрещало что-то во дворе стройки. Ещё какой-то шумок возник и пропал за дальним забором. И всё. Тихо стало. И не было будто ничего, и не было будто никакого Роберта. Вот да-а...

Во дворе стройки вдруг забесновался трельчатый свисток.

Возле тёмной бытовки. «Милиция, – похолодел Луньков. – Уже примчались!» Снова. Ещё сильнее. Тут же что-то упало в самой бытовке. Внутри. И свист оборвался... «Сосе-ед!» – явственно вылетело из тёмной форточки бытовки. Засвистело и опять оборвалось. И опять голос позвал: «Сосе-ед!»

Луньков ломался, гнулся, заходил в хохоте. Падал на стол. Как припадочного, его подбрасывало на диване. А к нему всё летело из раскрытой форточки бытовки жалобное: «Сосе-ед! Соседушка-а-а!» И снова посвистывало.

Потом в бытовке он отпаивал старуху чаем. Сам долго не мог прийти в себя.

Рано утром, после звонка Лунькова, Кошелевы примчались на своих «Жигулях». Метались по коридору, зачем-то открывали все двери гримёрных, распахивали бутафорскую, лезли по наваленным декорациям к выбитому окошку, проваливались, орали на Лунькова и снова бегали.

Сильно тужась, семена ножками, сами потащили сейф, накинув на него тряпку. Кричали Лунькову, чтобы открыл калитку. Потом чтобы держал дверцу машины. Гришка один, взяв сейф на пузо, задвинулся с ним в машину и упал на заднее сиденье. Лежал на сейфике раком. Как баба. Тяжело дышал.

В проулке показался грузовик. В кабине – настороженный Роберт. Кошелевы кинули на сейф тряпку, захлопнули дверцу машины.

– Ты чего заявился?! Кто тебя звал?!

– Так за реквизитом, Афдеч! Вот – по списку. Сам вчера дал...

– Ну забирай и уматывайся! – орал Кошелев. – Чего стал?!

Роберт остро прищурился на Кошелева, отёр перебинтованной рукой губы. Пошёл к крыльцу. Выходя обратно с какими-то алюминиевыми трубками, вроде не замечая Лунькова, который хмуро стоял у дорожки, процедил сквозь зубы: «Прихлопнуть бы тебя, сволота, да сам скоро подохнешь».

Кошелевы ждали. Пока он уедет. Старший оберегал в кабине сейфик, точно ребёнка. Потом резко развернулись и рванули в другую сторону.

Луныков запил. Два дня и две ночи пропивал он и подлые деньги Роберта, и свои – горбом заработанные в Щекотихе.

Первые полдня, казалось, только и делал, что лихорадочно бегал к гастроному и обратно – бутылки в сторожке на столе копились, точно на конце конвейера. Быстро опоражничивались. Требовали новых, более мутных, тяжелых.

Потом, вопреки всегдашней своей, за мышинные годы натренированной осторожности, пошёл болтаться по городу. Пьяный.

В кассе совсем другого кинотеатра совсем другой девице – испуганной, вскочившей, – разоблачающе грозил пальцем: «А-а! Сартра читаешь! А сама что делаешь? А сама? Почему – вразброс сажаешь, а? Почему – вразброс? И-ишь ты-ы!..»

В большой толпе на остановке метался среди шарахающихся от него людей. В закинувшейся на затылок шляпке, распаренный, как ангел. «Мы вместе! Товарищи!» Хватал их за руки, за плечи. Словно пересчитывал. «Мы вместе, вместе, товарищи! Спасибо вам! Спасибо! Мы вместе! Я теперь спокоен! Спасибо вам! Абсолютно спокоен!.. Я...»

Счастливым, плача, уходил от толпы, оборачивался, вздёргивал по-ротфронтовски кулак, снова шёл, всхлипывал, шептал что-то... Как его не избили в тот день, как не замела милиция – одному Создателю известно.

Другим же днем, весь отравленный, красно поддутый винными парами – висел в сторожке на стуле. (Дым от забытой сигареты словно торопился напитать, ещё больше отравить безвольную, свисшую руку.) Ударенный подряд двумя стаканами портвейна, почти не слыша себя в образовавшемся красном гуле, пытался писать в тетради и давал вдобавок «звуковое письмо»:

...И вообще ты, Люба... дрянь... Эта... как её? Любка! Вот... Стерва... И плюю я на тебя с самой высокой колокольни. И не спорь! Я знаю! Точно! Вот так!.. И на Михалева твоего плюю! М-михалев... И с такой вот... б-белогвардейской фамилией он – мужчина. А я, я, Луньков, советский – нет... Да-а-а... Да его же не видать, он же микроскопичен, как мушка, как блоха, которую надо – ногтем, ногтем! Вот так! Так!.. И ты – его подруга. Его подстилка. Его Скальп. Не спорь! Я сказал! Точка! Вот так!.. А я – разрюмился тут, сопли распустил по всей тетради. Не спорь, я сказал!.. Я, между прочим, в СМУ теперь, Любовь Ивановна. Скрывал. Начальник объекта. Не спорь! Я знаю! И ежемесячно – 260 – пожалуйста в кассу, Игорь Петрович. Вот так! И любок таких, как ты, у меня – сотни. Полный объект. По всем этажам. Бегают, снуют, понимаешь... Любую малярку беру, прораба Гришку со Скальпом беру – и ко мне. А они в джинсах обе. На каблучках. Идут-цокают впереди. Тощие. Как ковбойские сёдла... Дома забавляемся... Вот так! И не спорь! Я знаю!..»

Ещё пил. Раскачивался на стуле, выкрикивал. Шариковая ручка в его руке, как сама по себе, дёргалась в тетради. Потом вздрагивала, рывками везлась по странице, чиркнула и упала с рукой со стола. Луньков обвис на стуле, как после пытки.

А в комнате через дорогу, с болью прижав к себе притихшего сына, покачивалась мать. Словно вдруг испугалась чего-то. Тоскующе смотрела в темень за окном.

Очнулся на третий день к вечеру.

Стоял, смотрел на опрокинутую, влипшую в разлитое вино бутылку... С испугом не понимал шизического, начерканного в тетради... Полнясь алкоголическими своими глазами, медленно сдирал, комкал страницы.

Однако это не помешало ему через несколько минут хватать по всей сторожке в мешок бутылок и помчаться сдавать.

И только в тесном дворе, перед обшарпанной хибаркой с висящим замком, опомнился он. Сидел на пустом винном ящике, отворачиваясь от липнущих отовсюду окон дома, неверной судорожной рукой отирал платком пот... С тихим стекольным кляком рассыпал бутылки по траве возле хибарки. Подумав, бросил там же и мешок.

Выходя со двора, увидел, как какая-то старуха ползала на коленях, собирала его бутылки в свою сумку. Торопилась, озиралась по сторонам. Как собака, первой набежавшая на объедки, хватаящая их... Луньков отвернулся. Задирая голову, словно потеряв зрение, пошёл.

...Когда я встречаю, Люба, старых опустившихся людей, которым уже Наплевать, когда я вижу какого-нибудь старика, отрешённо бредущего в своих ботах «прощай моло-

дось», я вспоминаю свою мать... Нет, она не бродила в последние годы свои в драной обуви и с драными хозяйственными сумками. Прожила жизнь достойно, на пенсии держалась стойко. Но я вовек не забуду, Люба, как она... как она танцевала на нашей с тобой свадьбе. Танцевала, прискакивала в вальсе по моде 20-30-х годов. И эта прискачка её была страшной... Она вне её была. Вне состояния её на этой свадьбе. Безвольно помнило эту прискачку только старенькое её тельце. Которое алчно охватывал какой-то рассклеротившийся старикашка из вашей родни...

Господи, кто мог понять её тогда, в расшурованной уже, уже Обязанной прокуролесить свадьбе?.. Её – седенькую, в каком-то своем креп-жоржетике, точно в мешочке... танцующую как в бреду, с закинутыми... с распятыми! словно глазами, в которых прыгало с нелепой этой прискачкой только одно: «у меня нет больше сына! нет больше! нет больше! нет!..» Гос-по-ди-и!..

А ты смеялась, Люба, глядя на нее. Хихикала. С наивностью недалёкой простушки. Подталкивала меня локтем... О-о-о! Каково ей было на этой свадьбе! Ей, – родившей сына в сорок два года! Родившей в долгих муках, с большой кровью! Ей, – теряющей сейчас его, своё единственное оправдание на этом свете, свою мечту, надежду!.. Ведь она сердцем чувствовала, что сын её не в свои сани сел. Сердцем! Знала, Знала Уже Тогда, чем всё кончится!..

«Скучно на этом свете, господа», – сказал русский наш

великий писатель... Нет, Люба. «Грустно... больно на этом свете – надо бы сказать... Очень больно, Люба...

Луныков шёл, сморкался, вытирал глаза. Остановился на углу. Куда идти – не знал... Как часто бывало после запоев, подступил внезапный сильный голод. Пустой желудок, казалось, сохся, как грушка. Пылал. Луныков сглатывал и сглатывал слюну. От слабости обдавало потом, кружилась голова.

И дальше только голод толкал его с одной улицы на другую. От одной забегаловки к другой, к столовым, к кафе... Но за окнами везде стояли или сидели люди. Много людей. И по малой опытности Луныкову казалось, что *осуществить это* там нельзя. Не получится у него.

Старался не смотреть на столики, проходя мимо бесконечного ресторана. Везде за ними колготили, насыщались, радовались люди. Мужчины, женщины. Поторапливались озабоченно официантки с подносами, обкормленными едой. Сытые философные бармены болтали коктейли... И опять на пути возникали столовые, где к раздаточным в нетерпении теснились люди. Все с железными подносами. Как с откованными, по меньшей мере, индальгенциями в рай.

Уже в сумерках остановился перед крошечной закуской, запрятанной в тяжелое здание в центре города. И нырнул туда. А там, он помнил, было два зальца: налево – что-то вроде буфета, там полуфабрикаты, всегда очередь, и на-

право – как бы столовая: с раздаточной, с горячим, с пятком высоких мраморных столиков... Луньков шмыгнул направо.

В углу у окна ели две полные женщины со свежими одинаковыми, наверное, только что из парикмахерской, причёсками. На раздаче суетилась повариха. Она была к Лунькову спиной.

Луньков подошёл к ближнему столику. Слил с двух тарелок в третью, пустую. Схватил ложку, торопливо начал хлебать...

– Нет, ты посмотри, а? – как ударили слова из угла. – Ты посмотри!.. Да сколько же их, паразитов? Вот только тебе рассказывала про такого! И вот ещё один... В шляпе... Нет это невозможно!

Послышался даже звяк брошенной ложки. В тарелку.

Луньков застыл, дожидаясь новых слов, продолжения, («Ну же! Ну! Давайте же! Давайте!»), дико смотрел в стену, вымазанную краской точно сизым салом... Сглатывал, сглатывал подкатывающую тошноту...

По улице бежал, удёргивал за собой рвоту, распугивая прохожих, пока не припал к урне...

Потом сидел в чахлом раскидавшемся сквере. Напротив, весь промокший, растопырился свилеватый клён, уже оббитый непогодой. Такой же одинокий, голый, над ним загнулся и зяб фонарь.

Поза Лунькова была вольной, отдыхающей: ногакинута на ногу, со спинки скамьи свисла рука. Но торопящиеся

две девчонки на каблучках и в плащиках... как споткнулись об него. Каблучки растерянно постукали и остановились... «Смотри, – плачет... Может, подойдем? А?» – «Что ты – пьяный!» – И девчонки заторопились дальше.

Кистью руки Луньков отёр щёки, глаза. Поднялся. Пошёл, как разучившийся ходить старик, – шаря дрожащими ногами. Свистели дырявые кеды на холодном мокром асфальте. Луньков запахивал полы плащешки, зажимал озноб.

Мальчишка сидел у настольной лампы и готовил уроки... И глядя сейчас на склонённую голову, на беззащитную худую шейку, видя, как мальчишка откидывается от тетрадки в затенённое тихое счастье свое и любит написанным... Луньков с болью опять ощутил, что и он, теперешний Луньков, был когда-то Игорем Луньковым. Игорёшей. Игорьком. Был таким же худеньким мальчишкой, с маленьким своим нетребовательным тихим счастьем...

...Господи, Люба, ведь каждый пьяница был ребёнком. Нельзя без боли подумать об этом. Осознать без боли его незнание ещё... Доверчивое, раскрытое всем... И не забыть никогда этого своего далёкого, теплящегося в ночи счастья... Ведь до конца жизни будет глодать вина перед этим далёким мальчишкой, доверчивые глаза которого в беспутстве своём ты подло обманул, предал, пропил...

Луньков набычивал голову, опять вытирал кистью руки слёзы.

Уже поднимался на крыльцо, доставал ключ... и остановился – пыльная мешковина на окне задохнулась электрическим светом... «Господи, ну сколько же можно! Ведь хватит на сегодня, хватит!»... В тоске маялся на крыльце, долго не

заходил...

Кошелевы сидели на диване. Который у окна. Сидели развалившись. Как после бани, свёкольные оба, налитые. На столе стояли водочные две бутылки – одна уже пустая, другая пустая наполовину. Валялись жёлтые огрызки огурцов, полкольца не сожранной ещё колбасы.

«Обделали дельце. Обмывают». Тихо Луньков сказал: «Добрый вечер». Повернулся к ним спиной. Вытирал ноги о половичок. Снимал, вешал плащ, шляпку. Прошёл к своему дивану, приглаживая волосы. Хотел взять журнал и уйти в коридор костюмерных...

– А-а! – словно только сейчас увидев его, воскликнул Гришка. – А вот и автор долгожданный! А вот и сам писатель!

Напрягшись, выдернул из-за спины своей толстую тетрадь Лунькова в коричневой истёршейся обложке.

– А вот и сам роман гениального автора! А вот сейчас и почитаем.

Луньков кинулся отнять. Гришка резко пхнул его ногой. Искал, листая. И вскинул руку с тетрадь:

– Вот это! Вот – гениальное!.. «У нас ещё тёплые дожди, Люба. Светлые, грустные. Очищающие словно землю. Душу. Даже грязи вокруг как-то не замечаешь... Только тёплый дождь и тёплая парная осень по деревьям и земле... Удивительная осень в этом городе. У-удивительная!» А? Ха-ха-ха! Или вот. Вот еще! Гимн труду... «Люба, какое это счастье

вновь обрести себя! Ощутить своё тело! Ощутить каждый свой мускул! Мышцу! И всё это, Люба – ра-бо-та. Работа в радость, Люба, в очищение...» А-ах-хах-хах-хах!

Как пойманный, Луньков метался по комнате. Весь дрожал, дёргался. «Да сколько же можно измываться над человеком? Где предел издевательствам над человеком? Где предел всемирному этому садизму?» Казалось, он забыл про хрюкающих над тетрадкой Кошелевых. Но подскочил к ним, застенал:

– Ну зачем это вам? Зачем? Вам?! Отдайте! Прошу!..

Сел. Прямой. Отвернулся. Как залубенел, плача.

– О-ох-хох-хох! А вот ещё, ещё! Торжественное! Клятва!..

«Люба. Ты – единственное, что осталось у меня на земле! Тоска моя по тебе, любовь моя к тебе – бес-пре-дель-ны!»..

И-их-хих-хих-хих!

Луньков вскочил. Лицо его перекопилось. Луньков оскалил зубы:

– Ненавижу!.. Слышите?!

И – как плюнул:

– Опившиеся клопы!

– Что, что ты сказал? – легко взнялся к нему Гришка. –

Ну-ка, повтори...

– Опившиеся... щекастые... похотливые клопы!.. Ненавижу!

От пощёчины Луньков подскокнул. Защищаясь, выкинул вперёд руки в нелепой боксёрской стойке. Прятал, прятал в

них голову. «Бейте, бейте, гады!» – Кулаки дрожали, вскидывались, вскидывались...

Гришка раздёрнул руки Лунькова и с раскачкой, резко ударил снизу вверх. В лицо. Лунькова ослепило, откинуло на мешки с тряпьем. Он сполз на пол. Гришка наскочил, с размаху ударил ногой. По рёбрам. Ещё раз. Под дых. Ещё... Луньков сгибался, дёргался. Без воздуха. Синий...

– Ну хватит, хватит! Убьёшь, – оттащил Гришку Кошелев.

Но Луньков полз к ним, икал красной пеной, сипел: «Нена...ви...жу... слышите?... нена...ви...жу...»

– Убери его! – попятился Гришка. Слезливо выкрикнул: – Убью ведь!

– Ну-ну, – приобнял, как маленького успокаивал сына отец. – Послезавтра ведомость подпишет – и к чёртовой матери!

Они быстро рассовали по карманам водку, огурцы, колбасу, сдёрнули свет и вышли.

Луньков вздрагивал, затихал на полу. «Ненави...ижу... ненави...ижу... сво...олочи...»

Высоко полыхающая раковина словно заглатывала и заглатывала кидаемые Луньковым тетрадные исписанные листы. Потом пущенная из крана струя воды прибавала чёрный хлопьевый пепел, вгоняя его в дырки раковины.

Стоял у окна перед недвижимым сизым утром, забыто правя в стакане бритвочку.

Установив на подоконнике сколотое зеркало, брился. Промыв в банке станок, сложил в коробочку, опустил в карман пиджака. Уже одетым, выходя, наткнулся взглядом на журналы в углу на полу. Вернулся, начал собирать.

Ключ Луньков бросил на крыльцо. Открыто. За калиткой перешёл с журналами через дорогу, оставил их на завалинке. У окна. Мальчишке. Мальчишка вскочил из-за стола. Во все глаза смотрел на Лунькова. Словно в растерянности узнавал его. Луньков стоял... «Прощай, мальчишка».

И сторожиха тоже немо смотрела, забыв про чайник в руке, как он проходил проулком, как затем свернул за угол дома и пропал...

Около пяти под дождем он долго ходил возле главпочтамта. Никак не мог решиться. Ринулся, наконец, к двери. Дёргал её. Дёргал. Не ту половину. Да где же тут?! Ворвался внутрь. Метнулся дальше, к стёклам:

– Девушка, вот мелочь, вот! Конверт дайте, конверт! Ско-

рей!..

– Здесь только четыре копейки. Еще две надо.

– Я занесу, занесу, девушка! Пожалуйста. Скорей... И бумаги, бумаги какой-нибудь!..

Луньков отошёл к столам с чернильницами. Сел... И... в единый дух написал: «Люба, я в городе Т...ске. Если есть желание – напиши. На главпочтамт. Заварзину В. Т. (Это для меня будет.) Жду. Очень жду. Игорь». Запечатал всё. При- тиснул конверт к столу. словно чтобы ничего не выскочило из него обратно. Надписав адрес, широкими шагами подо- шёл к щели в стене с надписью «для междугородних». Су- нул конверт. Отступал от стены к выходу, зачем-то отирая о грудь руки, тряся ими. Как будто стряхивал воду. Или кровь.

На улице не знал – куда теперь? Что? как?..

Медленно пошёл. Не замечая, забредал в большие лужи, в самый бой дождя, посмеиваясь, выпрыгивал обратно, даль- ше шёл, улыбался встречным людям под зонтами, звездился в дожде, как ангел...

...Люба, что же теперь будет? Как я рад и как мне страшно почему-то. Ведь нет теперь пути назад. Вот уж воистину всё произошло с неотвратимостью письма, написанного в про- куратуру и... и брошенного в почтовый ящик... Всё. Теперь всё пойдёт вне меня, неотвратимо. словно на небеса я на- писал. И ты там – прокурор. И ты решишь теперь, решишь. Люба, как я рад, счастлив. Господи! И жутковато мне, и ра-

достно...

У центральной гостиницы увидел большой красный автобус до аэропорта – и сразу как ударило: съездить! Узнать! И уже побежал было к нему, фыркающему гарью, но вспомнил про рубль, который надо платить в этом автобусе. А рубля-то и не было. И доморощенные вылупились по окнам иностранцами. «Вот так, товарищи, – подмигнул им Луньков. – В кармане мир-дружба...»

Через полчаса он болтался на задней площадке обычного, рейсового, полупустого, тоже трясущегося в аэропорт. Улыбался хмурящейся, глаза уводящей кондукторше, взгромождённой высоко на сидение у дверей. Предупреждая её «позыв», обезоруживающе признался:

– Да, у меня нет билета. Вы угадали. И денег нет. Ни копейки. Но какой сегодня день у меня! Какой счастливый день!

Его подкидывало на ямках, он смеялся, отворачивался к окну, махал рукой и ею же смахивал слёзы. К редким просиням между тучами с мольбой тянулись пролетающие голые тополя... Кондукторша крепче ухватилась за штангу: «Ненормальный! Из дурдома!»

...Я теперь всё время, Люба, так: то ли смеюсь, то ли плачу. Сам не пойму. И с памятью стало странно: из института почти ничего не помню. Всё абракадабру какую-то... Ну не

забавна ли жизнь моя? Люба!

Луньков громко засмеялся.

Кондукторша опасно напряглась. Луньков разом оборвал. Но слова к жене неудержимо понеслись дальше, и он, точно подхваченный ими, только испуганно прыскался смехом, однако тут же выказывал кондукторше большие глаза: я нормальный, честный.

...Люба, я вообще часто помню то, о чём навсегда бы забыть. К примеру: мы с тобой идём по лесу на дачу к Тиуновым, с рюкзаками, устали уже... Проходим дачным посёлком. Какой-то парень кричит вдруг тебе: «Красивая! А ну помоги!» Помнишь? И ты подошла... и присела к нему. (Удерживала там какой-то брусок, в который парень начал забивать гвозди.) Я глаза вытаращил: поразила готовность твоя, с которой ты присела...

(Луньков смеялся, сжимала глаза боль.)

Кинулся я помочь... «Отвали! Она подержит!» Каково! И ты держала всё так же послушно. С лица парня слетали ухмылки. А я метался вокруг. Всё хотел поднять тебя. Поставить как-то на ноги. Чтоб не сидела ты, чтоб не сидела!.. Потом я бежал рядом с тобой, заглядывал тебе в лицо и всё пытался понять твою эту готовность. Бежал и заглядывал, как

дурак, у которого увели жену. Ну не забавно ли?..

Забыв про кондукторшу, Луньков хохотал. Как лаял.

Кондукторша побурела:

– Тебя высадить?! (С сидений начали выворачиваться головы.) Вон КПП! Живо остановлю!.. Не к добру смеёшься, парень...

– Знаю, знаю – не к добру, – поднимал, сдаваясь, руки Луньков. – Знаю. Извините, забылся.

Он отвернулся к окну, схватился за поручень. Пролетела высвеченная башня КПП, внизу, в шлеме – остолоповый гаишник.

И к побитому уборкой полю в кукурузных будылях сразу начал отовсюду напозать предночный сизый туман. Морок.

## 19

Когда он высмотрел в высоком расписании свой город с прямым рейсом к нему по вторникам, четвергам и субботам, когда оказалось, что лёту до него всего полтора часа – сдвинулся в сторону, поражённый.

Господи, Люба, всего полтора часа... Три года разлуки... и полтора часа...

Он прошёл к «справочному». За стеклом сидящая в форменном кительке девушка выдала ему прямо в ухо. Из репродуктора: «Пятьдесят два рубля, пятьдесят копеек!» Цена билета была внушительной.

Но всё равно, Люба, всё равно только самолётом! Ведь полтора часа. Всего полтора часа. Я буду возить дрова с Кукушкиным. Пилить, колоть. Неделю, две, месяц. Но я зарабатываю эти деньги, заработаю!.. И на одежду ведь надо приличную... Нельзя же так к тебе... Но ведь только подумать, Люба: полтора часа, всего полтора часа!..

Луныков ходил вдоль касс, вдоль очередей, завязших в багаже, меж шныряющих туда-сюда людей, на него налетали, сталкивали в сторону, он улыбался извинительно.

Его остановил милиционер. Но тут он довольно удачно назвал точный номер рейса. «Ночной рейс, товарищ милиционер. Из Новосибирска. Ночной. Встречаю». Суетливо заглядывал в нахмуренное южное лицо с усами, разглядывающее его липового «заварзина». Уже как заклинанием частил: «Какой день у меня сегодня, товарищ милиционер! Какой день! Ведь три года не виделись! Три года!» Неслушающей рукой заталкивал удостоверение обратно в карман. Во внутренний. Пошёл, наконец. Малодушно оглядывался. Не спуская с него глаз, милиционер уже объединился с другим милиционером. Своим двойником. Таким же усатым, южным...

Однако проходили в это время две подсобницы с кухни. Призывно смеясь, покачивали не без кокетства пустой алюминиевый бачок... Лица милиционеров сразу сделались лунными. Подобравшись как коты, милиционеры мягко пошли следом, на ходу правя усы...

Луныков жадно курил на воздухе возле стеклянных дверей. Тут же ходили ещё какие-то люди. Все тёмные. Каждый сам по себе. Ударяясь о свет из вокзала, вертелись резко, механистично. Подобно отстрелянным мишеням. И так же механически из иллиминированной хибарки в углу площади била музыка: «*Астанависься, сеньора! Астанависься, сеньор!...*»

Уже после двенадцати, пригнувшись, точно разглядывая свои кеды, Луньков покачивался в кресле на втором этаже аэровокзала среди соловеющих от ожидания и бессонницы людей.

...И всё дело, наверное, Люба, в том, что не было у нас с тобой детей. Ребёнка. Нашего ребёнка... Ты не хотела. А остальное всё – следствие... Перед живым созданием – родным, маленьким, нашим, я думаю, просто не возникло бы у нас всех тех взаимных преувеличенных ожиданий, претензий, обид. Всего того стражденького эгоизма любви между мужчиной и женщиной, который и растолкнул нас в конце концов... Перед маленькой этой жизнью, созданной нами, пестуемой нами... перед доверчивыми её глазами всё было бы это, наверное, глупо, мелко... и пошло...

Как нередко бывает после задержек по метеоусловиям, после того, как проплакались, наконец, слезливые аэропорты, начали объявлять рейсы. Подряд. Один за другим. И словно дождавшись какой-никакой успокоенности после возникшей взбаламученности людской, к освободившемуся ряду напротив Лунькова зашаркались два древненьких старичка. Годами уже оголённые. Уже как птенцы. Один выше

маленько, другой пониже немножко. По-стариковски растопыривались, топтались, долго усаживались. И помогала им, ласково оберегая, пожилая женщина. Полная. Уселись, наконец. И женщина – рядом. Старичок, который поменьше, сразу же со смешками, бесшабашно как-то забормотал. Весёленький приплюснутый носик его был как отметка. Как царская медалька.

«...Хех-хех! Ну, мы ей и отписали, так и так, Машка, бро-сай халупу свою – и к нам вали! У нас норма-ально, *жизинь*, хех-хех, кормят три раза, мясное даже бывает, по субботам баня, хех-хех, этот... как его?.. телевизор... один на всех, в общем – живи не хочу! Х-хех! Приезжай! А она, оказывается, очокуркалась, хех-хех. Пока письма-то ходили, она и того – каюк. Хе-хех. Бесполезно всё оказалось. Без толку. Х-хех. Да ты не грусти, земляк, – видя, что слушающий «земляк» опустил голову, подбодрил его весёленький, – при-вы-ыкнешь! Хех-хех! – Похлопал по плечу: – У нас норма-ально! *Жизинь*! Лес кругом, овраги... свалка рядом... воронья – тыщщи, хех-хех! Верно я говорю, Семёновна? – выглянул к сопровождающей. «Да помолчал бы ты, Никиша! Вечно пугаешь новеньких. Вы не слушайте его, товарищ Сокол. Он наговорит...» Товарищ Сокол ещё ниже опустил свислый свой нос. А Никиша всё балагурил: «Ты не бойся, товарищ Сокол! Хе-хех! С такой фамилией-то? Да все перепёлки наши твои! Кхех-ех! У нас их тьма! Так и пурхают, так и пурхают, песочком за собой посыпая! Хех! Пользуйся! Все

твой! Уступа-аю! Х-хеех! А, Семёновна?.. Х-хее-еехх-хех-хех!» – «Да будет тебе, Никиша», – изо всех сил старалась сохранить серьёзность, но уже фыркала, отворачивалась сопровождающая.

Луньков смотрел, умилялся. Но когда Сокол, наслушавшись всего от Никиши, с отчаянья ли, с тоски ли обречённо выворотил из газеты курицу – жареную, золотистую – Луньков встал, сразу выбрался из рядов. Вцепившись в перила, завис над нижним этажом. Пустой желудок уже не жал – спазматически дёргался. Как неуправляемый, чужой. Измученно Луньков тянулся взглядом к буфету слева. Попытка вспомнить, сколько времени не ел: сутки, больше?

Буфет просвечивал сквозь декор из загогулистого железа, струящегося с потолка и увешанного горшочками с плетями цветов; в сторону зала вообще всё было открыто, из буфета, казалось, зримо выкатывались волны кофе...

Теряя волю, он подвигался и подвигался к буфету, к терпкому запаху.

Люба, прости, последний раз. Клянусь... Последний раз... Не могу...

Ухватил с пустого кресла брошенную кем-то газету. Стал у крайнего чистого столика, прикрываясь газетой, «читая».

Кроме озабоченной буфетчицы, которая всё время подтирала тряпкой подтекающий кофейный агрегат, только в цен-

тре стояла и ела какая-то девица. («Это хорошо! Это хорошо!» – опять как в закуской два дня назад залихорадилось у Лунькова.)

В обширном, косоплечем каком-то пиджаке, в коротких наплывных брючонках, застёгнутых у колен... с украшениями на ушах, как с яхтами... была эта девица как-то неуместна ещё, преждевременна, что ли. Как рождественская ёлка летом. И ноги в гольфиках при ней – как красные свечи... Зато остальное всё – для турбазы: через плечо сумка «вильгельм-тель», берет на голове – лихо-косо. («Это хорошо! Хорошо! На турбазу едет! На турбазу! Женихов стрелять! Это хорошо!»)

Девица подносила куриное крылышко к своему лицу – и близорукий взгляд её как-то замирал во вместительных очках. Словно слушал себя. Берёг... И как растение распускался. И девица брала от крылышка зубками кусочек. Где-то видел Луньков всё это, видел. Этот плавающий взгляд, эти очки... (В кинотеатре видел, в кассе, когда покупал на фильм билет.) «Да ладно! ладно! потом! потом!» Он выглядывал из-за газетки, сосредоточивался на «задачке».

Рядом с буфетом какой-то мужчина в форменном плаще лётчика и фуражке гнулся с трубкой в кабине междугороднего телефона-автомата: «Ты слышишь, что я сказал!.. Да где?! Где?! Какая подруга до сих пор! У вас четвёртый час ночи! Какая?!» Он вслушивался в ответ, потом снова точно лез в трубку: «Слушай, Верка, ты её сестра, родная сестра,

ладно – согласен... но если... если её не будет... слышишь... если её не будет через полчаса дома!..» Снова слушал. Опять прямой, длинный. Точно подперев в кабине упрямыство своё, слепоту. И вновь кричал, сгибаясь: «Ты запомнила, что я сказал?! Повторить?!..»

...вот, Люба, тоже драма... Как у нас когда-то. Уже назрела...

Луныков хмурился. Не знал, куда смотреть. И не заметил, как этот мужчина в лётном вышел из будки. Как стоял он, тупо уставясь в потухшее стекло кабины. Как возник потом в буфете, и буфетчица отвешивала ему яблоч... И Луныков вздрогнул, когда мужчина этот с тарелкой яблоч вдруг встал за его столик. Именно за его, Луныкова. Хотя кругом было полно свободных...

Луныков сразу прикрылся газетой. Не выглядывал из-за нее. Что-то резко щёлкнуло. Заскрипело очищаемое яблоч.

Луныков ожидал увидеть боль, страдание, растерянность хотя бы, но лицо мужчины было сужено и зло, как нож, который он сжимал в руке, которым механически, не глядя, чистил яблоки одно за другим. Чистил и вгрызался в них. Вверх-вниз ходили большие уши. Как черепаха, грозились стронуться и поползти большая форменная фуражка...

...Вот, Люба, вряд ли он понимает, что сейчас очищает и

ест... Давно я заметил – у многих так. При большом волнении начинают есть. Жрать...

В буфет вошёл солдатик. В кительке, со значками, в глаженных брючках, аккуратненький, чистенький. Как луна – улыбающееся лицо. Ненец или якут. В руке чемоданчик... Взял у буфетчицы кусочек курицы в гофрированной тарелочке, хлеб и два стакана кофе. Всё это перенёс к дальнему столику. Не забыл и свой чемоданчик – задвинул его под столик... Снял, положил рядом фуражку и, окинув взглядом всё высокое стекло, за которым шторую висела ночь, осознанно, в отличие от лётчика, не торопясь, начал есть.

Вдруг мужчина в лётном бросил нож на стол и двинул к телефонной будке. И почти сразу со вспыхнувшим светом послышался опять его влезавший в трубку голос: «Верка, ты запомнила, что я тебе сказал?!»

Нож был красивый, богатый. С множеством назначений. С раскрытым большим главным лезвием в яблочной жижице, с массивной красивой костяной ручкой. «Дорогой», – подумал Луньков. Хотел погладить... словно на морской раковине белые пупырышки на ручке... и появился хозяин. Но прошёл дальше!

– Товарищ! Товарищ! Вы оставили! – Луньков поспешно вытер лезвие, протянул мужчине нож. Ручкой вперёд: – Дорогая вещь...

С какой-то брезгливой злобой мужчина вырвал у Лунько-

ва нож, защёлкнул лезвие, кинул в карман плаща.

Через минуту он стоял со стаканом кофе за столиком с низеньким якутом. Сам длинный, сумеречный, непримири-мый. «Да что он лезет-то к людям! Сколько угодно свобод-ных столиков...»

А якут уже пил кофе. Блаженно, растроганно. Как люби-мый свой чай. Большими глубокими глотками. Как бы при-говаривая при этом: хараша-а... Выпил оба стакана. Смот-рел на них, поикивал от сытости, думал, видимо: а не выпить ли третий?

Когда девица, утомившись борьбой с крылышком, отошла, наконец, от столика и стала выводить помадой что-то очень томное (на губах)... когда Луньков, боясь, как бы не убрали гофрированную тарелочку с объедками, сразу сдвинулся к ним и начал жадно доедать... якут словно ударился об него глазами – с растерянной улыбкой смотрел, раскрыв рот... Луньков стал давиться, кашлять. Хватал газеты, закрывался, продолжая толкать, толкать объедки в рот.

Якут тут же подошёл к буфету, сунул деньги, взял тарелочку с курицей, хлеб и, показывая всё это Лунькову, поставил на соседний столик. Как зверьку, который не возьмёт с человеческих рук... Всё так же не сводя глаз с растерявшегося Лунькова, улыбался ему, кивал ободряюще головой. Потом пригнулся, левой рукой взял чемоданчик, а правой шарил на столе фуражку... И столкнул вдруг фуражкой стакан с кофе. Прямо на мужчину в лётном. Его стакан. Ему на живот. На белую рубашку!.. Забыв Лунькова, бросил всё, кинулся с платком вытирать рубашку. Мужчина ошарашенно пялился себе на живот. Вдруг с маху, снизу вверх, ударил по круглому усердному лицу. Якут, как-то медленно запрокидываясь, увозя ботинки, повалился и ударился головой о низкие батареи. В лётном прыгнул к нему. Пнул. Раз. Ещё раз... Солдатик скорчился, зажался...

Всё это произошло мгновенно, молчком. На глазах у всех... В перекрестье вытянувшихся отовсюду взглядов – мужчина замер. Как клубок, в спицы схваченный... Но раскинул словно всё, расшвырнул. Пошёл уверенно к лестнице. Длинный, в форме. Но лестницу мыла уборщица. Возила палкой с мокрой тряпкой. Везде было влажно, чисто... И в лётном пошёл к другой лестнице. Чтобы там спуститься на первый этаж. И разинувший рот Луньков не мог даже понять сначала, осмыслить эту его чудовищную воспитанность, эту его чудовищную Деликатность с уборщицей...

...Как же так, Люба? После всего, что он только что сотворил. Это же невероятно...

Луньков подбежал к якуту, помог подняться, усаживал на низкий подоконник, к стеклу. «Сейчас, сейчас, паренёк! Он ответит! Не уходи! Никуда не уходи!» Метался, выкрикивал людям: «И вы, вы, пожалуйста, не уходите! Сейчас, я сейчас!» Кинулся вдоль всего этажа. Той же дорогой, к той же лестнице, куда полминуты назад играючи спустилась наглая, плюющая на всех фуражка.

Внизу было полно народа. На объявленные рейсы всё ещё шла регистрация. Везде к стойкам, к весам стояли очереди. С чемоданами, с большими сумками, с коробками, мешками... С натугой вышел откуда-то турист. На спине – натуральная гора Кара-Дага. Увешенная альпенштоками, верёвками и котлами. Турист качался с ней, явно падал.

На него набежал Луньков... Кинулся, подхватил. Помогал. Сбросили. Уже не слыша прохрипевшего «друг!», дальше, дальше продвигался. Снова побежал, высматривал, искал длинного в лётном.

Увидел его возле раскрытого киоска с газетами и журналами. Вместе с другим лёгчиком. Плотным, невысокого роста. Выбирали газеты. Длинный, посмеиваясь, похлопывал плотного по плечу. Корешил. Взяли газеты и... дальше пошли. К выходу из аэровокзала!

Луньков догнал. Шёл сзади. Как-то глупо в ногу с ними. Мучительно зачем-то пытался определить – кто старше из них? По званию? У плотного полоски на погонах шире как-то были. Луньков стал трогать его за рукав:

– Товарищ, товарищ!..

Плотный остановился. Оборотился к Лунькову. И мгновенно чем-то сроднился с Кошелевыми...

...Глаза, глаза у них одинаковые, Люба, глаза, нагло заголенные, в рыжих веках... Так один же монетный двор, Люба! Одной чеканки медяшки!..

– Товарищ, простите, товарищ. Вы ведь начальник вот этого... товарища? То есть я хотел сказать – вот его? Так ведь? Верно я сказал?

– Ну, допустим. Дальше что?

– Сейчас, вот только несколько минут назад он... вот он... вон там, наверху, на втором этаже... Он избил, он чуть не убил человека! Вот только что... Сейчас!

Начальник быстро глянул на кореша. «Кореш» нахмурился.

– Да не видишь – бич. Пьяный... Иди проспись, огрызок!

И они пошли дальше.

– Нет, постой, гад! Постой, не уйдешь! – Луньков начал хвататься за длинного, бессвязно выкрикивать: – Товарищи, товарищи! Сюда! Сюда!

Сразу придвинулся один гражданин. Ещё несколько зевак. И в очереди все повернулись...

– Ну ладно, – буркнул плотный. – Не ори. Пойдём. Разберёмся...

Все двинулись наверх.

При виде, казалось, отовсюду нахлынувших людей во главе с безумным Луньковым солдатик-якут испуганно остановился на середине буфета, зачем-то поставил на пол чемоданчик. Снял фуражку... Мял её, опустив свою лунообразную стриженую голову. Начал отворачиваться, всхлипывать. Как прощения у людей просил, каялся. Раздутую верхнюю губу его трясло, скашивало набок...

– Вот... вот этого паренька... – глотал слова Луньков. – Из-за стакана кофе... нечаянно пролитого им... Нечаянно!.. – Луньков с ненавистью глянул на длинного в лётном: – Вот этот... л-лётчик... вот он!

– Ну ты-ы! – выдвинулся длинный.

– погоди, – остановил его начальник. К Лунькову повернулся. Сытый. Насмешливый: – А кто видел это? – И уже с ухмылками вёл взгляд по лицам людей. И люди почему-то опускали, уводили глаза. Прятали. – Так кто?

– Да все видели, – с улыбкой изумился Луньков. – Вот видели. Вон там сидят, видели. Вон, буфетчица...

Плотный подошёл к буфету.

– Вы видели... что-нибудь? – с нажимом и вежливо спросил у буфетчицы.

И та от пронзающей этой вежливости, экипированной к тому же в аэрофлотскую форму, смутилась и поспешно за-

бормотала:

– Ничего я не видела! Повздорили тут, но там и не лёгчик был, ничего я не видела!

У неё вдруг сам собой зашипел, закашлял кофейный агрегат, она начала приседать, выключать там что-то, подтирать. Прикрывалась им, пряталась.

Начальник повернулся к Лунькову: вопрос исчерпан, уважаемый!

У Лунькова сжались глаза: да это же заговор...

Бросился к рядам кресел. К сидящим там пассажирам:

– Товарищи, товарищи! Да они же заодно! Вы же видели! Ведь из-за меня, из-за меня всё!.. Он хотел мне! Курицу! Понимаете?.. А этот гад его... Ну ладно я, я пропал, погиб, ладно... Но вы же люди. Разве можно это оставить? Он же фашист! Он чуть не убил! Человека!.. Люди! Помогите!

Тут начали восставать два героя Шипки, затоптались даже, поспешно расправляя усы, но сразу были сдёрнуты на место сопровождающей. Резко заплакал грудной ребенок. Напуганный выкриками Лунькова. Мать заторкала его в руках. Взглядывала зло на Лунькова: разорался тут...

И всё? Весь ответ? Людей?.. Луньков растерялся.

– Я... Я видела! – вдруг послышалось от буфета.

Все повернулись к девице. В очках которая. С яхтами на ушах. В гольфиках, в штанишках. В косоплечем пиджаке.

– Я видела. Он сначала ударил... в лицо. Потом на полу... ногами...

Луньков подбежал к ней. Затряс ей руки:

– Вот хорошо! Правильно всё! Сартр – гуманист! Великий гуманист! Можно сидеть в кассе, зато читать Сартра! – Он смеялся, подмигивал девице: – Они считают меня сумасшедшим. Они поднимают громадины в небо, а на земле пинают людей. Они всё могут... Но нет, не выйдет. Не пройдёт у них. На сей раз не пройдет.

Повернулся. Отчаянно, радостно разглядывал обоих:

– Что? Может и меня... того... в морду? На глазах у всех? Его избили – чего теперь стесняться? А? Ха-ха-ха! Вас же лётчиками язык не поворачивается назвать... Длинный и плотный! Ха-ха-ха!

– Заткнись ты! – прошипел плотный. Зло озирался по ногам людей. Приказал: – В отряд! Там разберёмся!

И пошёл, окружённый зеваками. На плетущегося рядом солдата, на спотыкающуюся девицу внимания не обращал. Он даже забыл про своего штурмана, который дёргал его за руку, порывался что-то шепнуть. Ему был важен этот. Зачуханный интеллигентиска в шляпчонке. Которого не оставить. Здесь, на людях. Который уже забежал вперед и выкрикивает по-прежнему, сволочь, что он «не сумасшедший» и что «у них не пройдет»...

Когда прошли по всему первому этажу – зеваки куда-то пропали. Растворились. Как и не было их вовсе... Луньков кинулся к двери с табличкой «милиция» – плотный ухватил, отдёргнул от двери:

– В отряд, я тебе сказал! – Толкнул вперёд. И они начали зачем-то впадать в полутёмный уже ресторан – Луньков, за ним эти двое, потом солдат и девица. Луньков в недоумении оборачивался. «Дальше! Дальше! – махал рукой плотный.

В полутьме две уборщицы с тряпками распрямились в испуге. Из угла кто-то крикнул: «Куда?! Всё закрыто!..»

А они всё шли и шли, стремительно, не останавливаясь, какими-то бесконечными коридорами, коридорчиками, круто сворачивая и вновь идя прямо, мимо каких-то плоских кафельных комнат, где в пару и чаду сновали белые пятна поварих, мимо закутков с резкими вспышками света. И, оборачиваясь, Луньков так же вспышками запоминал, как сначала плотный на ходу повернул девицу и толкнул куда-то в боковой коридор, как он же потом, тоже на ходу, совал солдатику что-то, и тот вдруг остался далеко позади, растерянный, с чемоданчиком, с красной бумажкой в руке – точно брошенный на дороге... И с болью Луньков ощутил, что и солдат, и девица, и избиение в буфете, и всё последующее... всё это было и не было, всё это осталось там, на дороге, вме-

сте с солдатом и девицей, и вернуться туда невозможно, и тащит его вперёд уже что-то другое, названия которому нет, но отступить от которого нельзя, невозможно, преступно. И всё это другое тащит он сам, Луньков, тащит вперёд, и от него ни за что не отступится. И спиной, холодея, Луньков чувствовал, как зло спотыкаются за ним эти двое, как жадно слушают они его выкрики, пытаясь понять, уловить для себя самое важное, главное, и уже готовят... уже приготовили ему свой ответ... Но Луньков, как заведенный, всё выкрикивал. Луньков всё «выступал». Луньков оборачивался к ним, продолжая «разоблачать»:

– А-а! Пареньку в зубы червонец, а девицу в шею! Чтоб до утра там ходила в коридорах! Ай да ловко! Ну ловкачи-и! Вчера бы вы и меня купили! С потрохами купили! За трёшку, за пятак! Да сегодня я другой. С сегодняшнего дня другой! Понимаете ли вы это, подонки! Ведь полтора часа, только полтора часа – и я уже не Заварзин! Нет такого Заварзина! Никогда не было! Останется только вот эта липа! Вот эта грязная замызганная книжонка, которая именуется «заварзиным»! Которую я рву! Рву! Вот так! На ваших глазах! Нате! Ловите! Изучайте! Ха-ха-ха! Понимаете ли вы это? Вы, хозяйева жизни! Только полтора часа! И у меня тоже будут тёплые дожди. У нас с Любой будут тёплые дожди. А вы – ответите... Не-ет, спускать вам нельзя. Больше нельзя. Слишком многое вы захапали. Жрёте, давитесь, а всё нажраться не можете... Не-ет, нельзя-а. Ни за что нельзя... Сейчас дой-

дем, сейчас, и вы ответите...

Луньков выпал из торца здания в темноту, в дождь.

– Так где же ваш отряд липовый? – повернулся к двоим. – А?..

– Вон... там... – Плотный махнул рукой в сторону далеко мерцающей диспетчерской вышки.

– Это «отряд»? Да это же каракатица иноземная! Братцы! Только что прилетела! За двумя своими мутантами! Скорей!

Опять быстро шли. Шли по кипящему в дожде бетону, подпираемые в спины прожекторами от аэропорта.

...Люба, никакого отряда не будет. Они не знают, что со мной делать. Они будут предлагать деньги. Потом будут бить. Но я не отстану от них. Ни за что не отстану. Ползком поползу, но им не отвязаться от меня. Нет!..

– Слышите, вы! Ведите меня хоть куда: в отряды ваши, в диспетчерские вышки, но вам не избавиться от меня. Ни за что не избавиться! Не пройдет у вас! Слышите?!

– Давай, давай! Шагай!

Наконец, как по команде, все трое стали. Луньков медленно повернулся... Освещенный – против двоих в белом дожде...

– Что-о – дальше некуда? А? Куда теперь? В какой отряд?..

– Ну, вот что... друг... – тяжёлыми словами заговорил

плотный. – Как я понял, тебе надо в С...вск... Рейс через час... Денег у тебя, понятно, нет... Так вот, мы покупаем тебе билет, сажаем в самолет... и больше никогда не видим...  
Понял – никогда!

– Ха-ха-ха! Люба, они всё покупают! Они привыкли всё покупать! Они даже солдатика купили. Избили – и тут же купили. Тот даже не понял, что с ним произошло... А? Могут, Люба, мо-огут... Но не выйдет на сей раз, господа Кошелевы! Не пройдёт!

– Чего же ты хочешь?! – повысил голос плотный.

Двое стояли в дожде. Против освещенного одного, зажав газеты в руках как сизые факелы...

...Люба, ведь это...

– ЧЕГО ТЫ ХОЧЕШЬ?! – прокричал весь поднебесный мир.

– Да сука о-он! – слезливо выкрикнул длинный. Как мучительно объясняя плотному, раскрывая глаза ему. – Су-у-ука!..

Он подскочил к Лунькову, ткнул в бок. Назад отпрыгнул.

Пятились оба от зажавшегося, с разинутым ртом Лунькова, который словно отпускал себя резко к земле и тут же на ноги вскакивал. Падал на колени и снова вскакивал, к небу закидывая голову...

Двое повернулись, пошли. Побежали...

# Графомания как болезнь моего серого вещества

## 1

С начала сентября зарядили дожди, дорогу на Хлобыстино размыло, перестал ходить даже рейсовый, и Колпакову Фёдору Петровичу, директору заготконторы в райпотребсоюзе, пришлось отправить туда своего бухгалтера Недобегу Роберта Ивановича гужевым. Отправить с коновозчиком Аксёновым. С Михеичем. Для проверки тамошнего промышленного склада. Выехали спозаранку, думали развиднеет, но опять шёл дождь, и над головой двигалось чугунное небо.

По грейдеру самой станции «Таёжная» тарабанькались с ветерком, лошадёнка бежала споро. И по мостку через Калининку простучали бойко, оставив за собой чернильные пучки кленов по берегам её. Но за станцией почти сразу дорога стала расплюйной, с колеями от телег похожей на разодранный кабель. Телега с ездоками ахала в обширные лывы, и бедная лошадёнка начинала трепетать над грязью как пожар, как факел. Мотаясь на телеге позади Михеича, Роберт Иванович достал из-под плаща большой блокнот. На блокноте было написано – «Нужные Слова, а также Нужные

Предложения». Несмотря на дождь, распустил блокнот, как гармонь. Написал: «Дорога. Грязь. Телега моя раскачивается как по штормовой палубе. Эх, Россия моя, Россия! Куда путь держишь? Куда скачешь? Знать, у лихого татарина...» Телега вдруг глубоко провалилась в яму. Лошадь еле вытянула её на бугорок. Больше Роберт Иванович не писал. Прикрыв мокрый блокнот полой, только нахохливался под сеющим дождём. Однако подпрыгивая с горы к Хлобыстино, всё же исхитрился записать: «Ветер дул. Тополиные кусты в Хлобыстино митинговали». Какая точная картина получилась! Честное слово!

– Роберт Иванович, не трясёт? – пряча смех, оборачивался Михеич. – Может, придержать чуток? Эко она разошлась! – кивал на попёрдывающую лошадёнку.

– Ничего, Михеич, терпимо, – трясся с блокнотом в руках Роберт Иванович.

Михеич от смеха уже падал вперёд. Трещины на шее его меняли цвет. Как на высохшей луже становились белыми.

Бригадир заготовителей Кононов вёл приехавшего начальника к складу. Предупредительный, загнувшись струбциной, даже туловом своим как бы указывал ему сухой безопасный путь. Однако Роберт Иванович был в болотных сапогах, шагал смело. Заводя начальника на крыльцо, Кононов шугнул курицу. «Пожалуйста, Роберт Иванович». За раскрытой дверью в склад чёрно зияла пустота. Но и тут Роберт

Иванович смело шагнул внутрь.

К вечеру, после ревизии и обеда в доме у Кононова, прощались возле телеги с лошадьё и покачивающимся Михеичем. На Роберте Ивановиче висел длинный рюкзак, набитый кедровыми шишками, в руках он держал портфель и берестяной туес с августовским мёдом.

– Может, останетесь, Роберт Иванович? – совсем загнулся над начальником Кононов. – Куда же на ночь-то вам?..

– Нет, товарищ Кононов, пора. Доедем.

– Ы-ыхх! – смахнул слезу бригадир Кононов.

За хлобыстинской горой, уже в лесу, лошадёнка еле тащилась. Пьяный Михеич что-то бубнил ей, вроде как понукал. Роберт Иванович лежал и мечтательно смотрел на плывущее тёмное небо с ёжиками звёзд. Описать бы сейчас эту картину ночи. Но жалко, что нельзя, в блокноте ничего не видно.

Въезжали на станцию уже в одиннадцатом. В Калинке журчала луна.

## 2

Роберт Иванович Недобега считал, что романы и повести нужно писать с утра только натошак. Поэтому к столу садился прямо в майке и трусах, предварительно быстренько сбежав на двор.

Прежде чем приступить подаренным Ниной Ивановной золотым пером, Роберт Иванович оглядывал свое хозяйство на столе: всё ли на месте? Писчая бумага стопкой справа, вчерашний черновик и ещё наброски – это слева. Перед ним, прямо в лоб – чистейший лист бумаги. Итак, приступим. Роберт Иванович начинал убористо, не торопясь, писать. Иногда прерывался. С любовью, как первоклаш, оглядывал работу. Снова приклонялся и старательно выводил – худые лопатки его, как у ангела. слегка двигались в великой майке. Коротко стриженная лысеющая голова как будто светилась. Так светится утренняя золотистая пашня.

Роберт Иванович писал: ««Фамилия?!» – «Мочилов». – «Ка-ак?!» – «Мочилов», – скромно потупился новобранец». Роберт Иванович отстранился от написанного: хорошо, ёмко, и даже несколько с юмором. Так и надо всегда изображать.

В обед, похлебав вчерашних щей, вымыл тарелку и вернулся в комнату. Стал прогуливаться по ней. Было воскресенье, на работу не надо. Не мешал думать тихо работающий

телевизор. Человек с Курильской грядой на лбу опять рулил за широким столом Съездом. Роберт Иванович остановился. Какое-то время смотрел. Бросился к столу, записал: «Мотивно говорит товарищ Горбачев! Хочется точно так же пропеть. Этак закуривать». Снова продолжил ходьбу.

Потом в телевизоре густой чередой бежали кем-то напуганные слоны. С развесистыми ушами напоминая быстро движущийся нескончаемый папоротник. Роберт Иванович опять остановился. Кинулся к столу: «Все слоны бежали. С яростными бивнями и хвостами!» Здорово! Отличная картинка Африки! В романе может пригодиться.

Закончил писать часов в девять вечера. Хватит, пожалуй, на сегодня. Широко зевнул, потянулся. Нужно беречь моё серое вещество. Да, беречь. Аккуратно прибрал всё для утра. Для завтрашней работы.

Спал очень тихо, на боку. Настенные часы спокойно вышагивали над диваном. Раза два только за ночь глохли и тряслись от пролетающих сумасшедших товарняков.

Летними тихими утрами солнечные большие пятна медленно переходили через широкую улицу Вокзальную от одного приземистого дома к другому. Свежие облака словно приплыли из Средней Азии – висели корзинами с хлопком-сырцом.

Из своей калитки появился Недобега Роберт Иванович в рыжих штанах, схваченных у щиколоток резинками. Заглянув в почтовый ящик, закладывал вертушок на калитке и, вихляя плоскостопными ногами, спешил в сторону Профсоюзной на работу.

С Робертом Ивановичем поздоровалась какая-то встречающая усталая женщина с двумя хозяйственными сумками. Недобега заспотыкался. Выхватил блокнот. И в единый дух написал: «Мимо меня прошла сейчас зрелая прекрасная девушка с двумя хорошими, надо сказать, дунями».

– Здравствуйте, Роберт Иванович! – На этот раз Влазнев. Из Сельхозтехники. Улыбается. Прямо напугал. – Что это вы такой красный?

– Да так. Солнце.

Сложил блокнот, завихлял ногами дальше.

Новый штaketник перед конторой Сельхозтехники красили Гуляшова и Кадкина. Увидели Недобегу. Не сговариваясь, сразу запели частушку, приплясывая:

*Все тетери улетели, уточки закричали,  
Мы с милёнком расставались – только счёты брякали!*

Снова махали кистями. Смеялись.

Вот чертовки! Это потому, наверное, что я бухгалтер.

Показался барак. На фоне женских стонов и визгов со второго этажа – хахаль был молчалив. И, по-видимому, упорен.

Роберт Иванович опять остановился и записал: «И это –  
среди бела дня! О-о-о-о!»

Наконец поднялся на крыльцо потребсоюза, где в двух комнатках находилась и заготконтора.

## 4

Когда входил в бухгалтерию Колпаков Фёдор Петрович, директор, вторая бухгалтерша заготконторы Золотова вылезла из-за стола поспешно и боком. Точно исполняла боковой танец слонихи в цирке. Имя носила соответствующее. Размером с усадьбу — Дарья. Однако, знакомясь, всегда называла себя Дашей. Я — Даша. Вроде как только печка из этой усадьбы.

– Здравствуйте, Дарья Сергеевна! – Роберт Иванович уже сажился за свой стол.

Дарья пробурчала что-то.

Роберт Иванович улыбался. Недолюбливает. И всё из-за Нины Ивановны. Подруги своей. Да.

– Дарья Сергеевна, пожалуйста, квартальный отчёт по грибам и шишке.

Золотова сидела в бумагах своих точно по грудь в компосте, тем не менее мгновенно выхватила нужную папку и швырнула начальнику.

Недолюбливает, да, это точно – развязывал тесёмки Роберт Иванович. У него на столе, как и дома, полный порядок, только необходимое. Начал читать. Сыграл на калькуляторе. Снова углубился в отчёт.

Дальше в тесной комнатке только тихо возились, поскрипывали стульями мужчина и женщина.

Иногда Золотова вылезала из-за стола и печатала на машинке. За другим столом. У окна. Громоздкая электрическая «Оптима» начинала работать как американский громогласный машинган.

Роберт Иванович осуждающе смотрел. У него дома прекрасная «Эрика». Прекрасный механизм.

В обед Золотова шла через дорогу. В библиотеку. От долгого сидения на стуле открытые полные ноги её словно были поражены древоточцем.

В тесном помещении со стеллажами и без читателей сорокалетняя Золотова смотрела на свою сорокалетнюю подругу. Тяжело дышала. Рыжие цехины на её полуоткрытой груди были как *всё моё богатство*.

– Долго ты ещё будешь с ним валандаться? А? Ведь два года уже прошло?..

Нина Ивановна Переверзева быстро передвигалась вдоль библиотечной стойки, нервно перекидывала библиотечные карточки, на подругу старалась не смотреть.

Дарья усаживалась на стул и укоризненно качала крашенным петухом на голове:

– А ты ему ручку с золотым пером даришь. А? Видела бы, как он готовится ею, прежде чем писать. Кругами, кругами водит. И ещё говорит мне, главное, сейчас: «Передайте, пожалуйста, привет Нине Ивановне». А? Подлец...

– Замолчи! – не выдерживала Нина Ивановна. Венка на

её лобике разом наливалась кровью. – Замолчи сейчас же!

Дарья молча поднималась, шла, бабахала дверью. Нина Ивановна падала на стул. Белая квадратная оборка на её груди дрожала. Походила на изрубленную капусту.

– Как там Нина Ивановна? – интересовался Роберт Иванович у Дарьи Сергеевны, перестав писать золотым пером. – Здорова ли?

Золотова не находила слов, искала их на потолке. Как землетрясение, лезла за стол.

В прошлом году, тоже летом, Нина Ивановна подарила Роберту Ивановичу авторучку с золотым пером, купленную ею в Новосибирске, куда она ездила в отпуск к матери и отцу. Подарила на сорокалетие Роберта Ивановича, которое не без помпы отмечалось прямо на работе всем потребсоюзом. Профком дал денег, сам Роберт Иванович добавил, и стол женщины накрыли в коридоре на втором этаже.

Пригласили также некоторых товарищей из райкома и милиции. Всего шумело за столом человек двадцать пять. Попала на торжество и Нина Ивановна. Как образцовый на станции «Таёжной» библиотечный работник, ну и как (отмечающие юбилей перемигивались за столом) невеста (вроде бы) Роберта Ивановича.

Почти все вскакивали и славословили юбиляра. Говорили, какой он прекрасный работник. Как скромен он в быту. Колпаков, его непосредственный начальник, даже прослезился. Крепко обнял вскочившего невысокого юбиляра, оплеснув его вином. Его белую нейлоновую рубашку.

Почти все вскакивали с бокалами и славословили юбиляра. Говорили, какой он прекрасный работник. Как скромен он в быту. Колпаков, его непосредственный начальник, даже прослезился. Крепко обнял вскочившего невысокого юбиляра, оплеснув его вином. Его белую нейлоновую рубашку.

Когда пришла, чуть опоздав, Нина Ивановна – все встретили её животным каким-то рёвом. Однако Роберт Иванович не повернул даже голову, сидел мечтательный, задумчивый. И Нина Ивановна прошла в самый конец стола и там присела. Решительная Золотова начала было тащить её назад, чтобы втиснуть рядом с Недобегой, но Нина Ивановна сумела отбиться. Тоже сидела скромно потупившись, почти ничего не пила, не ела. Однако когда изредка поворачивались к ней всё те же разом веселеющие лица – краснела. И жилка на её лобике набухала.

Расходились уже в темноте. Запели инвалидными давящимися голосами:

*Вот ктой-то с гоорычки-и спустилься-а...*

Колпаков пел отдельно от всех. Ревуче. Соревновался с гудком на станции. Золотова как могла укрощала.

Нина Ивановна взяла, наконец, именинника под руку. Пошли мерно в ногу.

– Для писателя, Нина Ивановна, сорок лет – это самый плодотворный возраст. Ах, как много впереди работы! Как хочется жить!

– Конечно, Роберт Иванович. Конечно, вы будете много работать, – безотчетно говорила Переверзева, всё думая, как и где вручить подарок.

Наконец вышли к фонарю, на свет.

– Вот, Роберт Иванович, – это вам. От меня. Примите, пожалуйста.

Недобега быстро развернул обёртку, открыл футлярчик. Паркер! Настоящий! С золотым пером! Задохнулся даже на миг. Но опять как всегда высокопарно изрёк:

– Вот теперь у меня будет отличное орудие труда, Нина Ивановна! Отличное! Спасибо! Тронут!

Возле штакетника Нины Ивановны остановились.

– Может, зайдёте, Роберт Иванович? Я печенья напекла, чаю попьём?

– Нет, Нина Ивановна. В другой раз. У меня скопилось много впечатлений за сегодняшний вечер. Нужно срочно их перенести на бумагу. – Он вдруг засмеялся. Диковато. Как скалолаз: – Эх, и пойдёт у меня теперь работа новым пером, Нина Ивановна!

Попрощавшись, он пошёл. Плоскостопо. Повихливая ногами. Но быстро. И провалился в темноте.

Да-а. Права, наверное, Дарья. Просто больной. На душе у Нины Ивановны было нехорошо, горько. Открыла калитку, пошла к тёмному своему дому.

В детстве Роба Недобега чурался сверстников. В начальной школе села Предгорного у него был только один товарищ – Гена Селезнёв. На уроках родной речи Робу всегда поражало, как может один человек (Гена) так много выучить дома наизусть. Гена просто вставал из-за парты и вместо пересказа шпарил всё произведение, словно читая его. По учебнику «Родная речь». Клавдия Георгиевна хвалила Гену, ставила пятерку, но говорила, что столько учить дома наизусть не нужно, лучше суметь изложить всё своими словами. Но Гена продолжал учить всё наизусть. Зато когда наступал урок арифметики, а с четвёртого класса и алгебры – тут не было равных Робе Недобега. Любые примеры щёлкал он на доске как орехи.

На переменах, заложив руки за спину, маленькие друзья гуляли по коридору школы, получая от весёлых бегающих сверстников не совсем заслуженные щелобаны и тумачки. («Н-на, Ропка Еропкин!» «Н-на, Селезень!») Иногда оба оказывались зачаточным клубком большой кучи-малы. Но звенел звонок, начинался новый урок, и уж тут свои способности одноклассникам показывали они.

Они даже влюбились одновременно. Роба в Галю Поливанову, а Гена в Зину Зорькину. Но надменная Галя только фыркала, закидывая каждый раз косу за спину: «Этот Ероп-

кин!» А Зина смеялась над Геной и почему-то его всё время щипала. И на переменках, и на уроках. С соседней парты. Отвергнутые друзья нередко теперь шли к домику над рекой, где жили Недобеги, садились на пожухлую траву, грустили и смотрели на алтайские, долго стоящие в горах закаты. Выходила из домика мама Робы: «Гена, Роба, домой!» Ребята вставали и шли. В двух окнах домика тепло, вспыхивало солнце. Гена часто ночевал в этом рубленом невысоком домике. Дядя Ваня Недобега был зоотехником, образованным, а тётя Глаша работала простой дояркой.

После окончания предгорненской десятилетки дороги друзей разошлись: Гена поступил в Барнаульский пединститут, а у Робы Недобеги в это же самое время случилось большое несчастье – трагически погибли его родители... Перед отъездом сына на вступительные экзамены они решили купить ему настоящий мужской выходной костюм. Конечно, в городе. Все трое они стояли на остановке за деревней вместе с другими сельчанами, тоже собравшимися в город. Роберт зашёл в бетонную будку, чтобы завязать развязавшийся на ботинке шнурок. Успел увидеть только, как грузовик смёл всех с остановки... Он кричал и бежал к завалившемуся ревушуму пьяному самосвалу, к разбросанным по кювету тряпичным телам...

После похорон родная сестра погибшей Глаши Софья повезла племянника к себе в Красноярск. В автобусе Роберт трясся на последнем сидении и смотрел в окно на удаляю-

щуюся свою деревню. Окна маленького домика на горе были заколочены досками. Походили на ослепшие глаза в повязках...

В Красноярске Роберт Недобега год работал на заводе. То же как и Гена Селезнев поступал в пединститут. В местный. Провалился. Снова вернулся на завод. В армию не взяли – плоскостопие. С детства. Наконец по совету дяди Коли, мужа тётки Сони, записался на бухгалтерские курсы. Которые с успехом и закончил через шесть месяцев. Работал по сразу понравившейся специальности. И через три года, съездив пару раз *на повышение квалификации*, стал Робертом Ивановичем, главным бухгалтером Потребсоюза.

Карьеру поломала женщина по фамилии Солодовникова. На которой женился, а потом долго разводился. Уехал из Красноярска с ободранной душой. Ладно, хоть детей не было. Уехал в глушь, на станцию «Таёжная», где взяли на работу сразу.

Отдыхая, Роберт Иванович как всегда ходил по комнате. Мягко работающий телевизор думать не мешал. Теннисистка-негритянка била мячи очень сильно, с устрашающими криками. Казалось, мячи вылетали прямо из её паха, из её широко раскидываемых, мощных, с кривизной ног. Вылетали – как из загона... Роберт Иванович остановился, какое-то время смотрел. Бросился к столу. Нашёл тетрадь «Нужные слова и Нужные предложения». Быстро записал в ней: «Сокрушительные удары негритянки следовали с невероятной силой. Её противница уже изнемогала». Всё это пригодится. В дальнейшем. Телевизор – это отличная тренировка моего ума и сердца! Да. Продолжил планомерно побалтывать плоскостопными ногами.

Ночью приснился странный сон. В местном депо на митинге рабочие походили на немую голую поросль, ровно заточенную ураганом на одну сторону. А Роберт Иванович был живой, весёлый. Почему-то оказался впереди всех. Перед самой трибуной. С вытянуто увеличенным лицом он приседал и что-то толмачил трибуне руками. Пулял ими. Как пуляет руками певец на концерте в телевизионный экран... Потом с трибуны ему громко крикнули: «Уйди отсюда!» И он проснулся.

Утром Роберт Иванович не смог записать этот странный

сон: никак не находились слова для передачи его на бумагу. Хотя Роберт Иванович всегда писал легко. И слова сами прибегали к нему. А тут – никак.

На работе он спросил:

– Дарья Сергеевна, как вы будете голосовать на референдуме? О будущем Советского Союза?

– Это мое дело! – буркнула Золотова.

– Да, конечно...

Вошёл Колпаков. Ещё трезвый. Поспешно исполнила слонихин боковой танец Золотова. Роберт Иванович тоже встал с протянутой рукой.

Колпаков пожал руку.

– Вы определились с референдумом, товарищи?

Сотрудники молчали и словно бы чесали в затылках.

Тогда Колпаков вышел. Реденькие усы его пошевеливались. Напоминали заводные усы мыша. Идя к себе, он точно принюхивался к чему-то. Нехорошему, вонючему.

За столом косился на бутылку. Решительно задвинул её в тумбочку. Постучав в стену, крикнул:

– Дарья Сергеевна, зайдите с отчётом!

Дарья забежала, напевая. Домашние тапочки на её ногах походили на бисквиты. Повернула в двери ключ.

Колпаков встал, сразу охватил округлость Дарьи. Всю. Голая округлость была как пиво в целлофане.

Роберт Иванович достал блокнот. Послушал ритмичный приглушённый стук, идущий от стенки. Быстро написал:

«Какая могучая пара! Всё-таки любовь творит чудеса!»

Заиграл на калькуляторе.

Дома вечером он много, плодотворно писал. Потом перед сном отдыхал, откинувшись на спинку дивана. В телевизоре чукча дёргал железку во рту. Вроде как непроходящую зубную свою боль. Не удержавшись, Роберт Иванович дернулся к столу: «Гениальная музыка чукчи! Наше Северное сияние!»

Потом там же жирафы куда-то медленно шли. Как движущееся письмо каракулями. Эти Роберта Ивановича не заинтересовали. Никак не изобразил. Не пригодятся в романе. Да. Устал я что-то сегодня. Пора, наверное, дать отдых моему серому веществу. Да.

И всё же снял трубку, набрал номер Нины Ивановны и ещё долго рассказывал ей о новой главе, которую он сегодня записал. У его светящейся возле торшера золотой головы, в трубке бились восторженные слова женщины. Роберт Иванович улыбался.

Утром он как всегда торопился на Профсоюзную в заготовконтору. Уже хорошо поработавший за столом, радостный, оставив дома ещё одну главу. Ножки Недобеги работали, как бойкие костылики.

Две пожилые сёстры Ерошины уже сидели на лавочке.

– Вон, смотри – палкает. Нинкин писатель, – говорила Парасковья, старшая.

– Да зачем он ей такой кутельпятецкий? – возражала Катерина, младшая. – Да и не выйдет она никогда за такого! Ровно не посуху идёт, а по грязи ножками-то чапает.

– Не скажи, сестра, – смотрела вслед Роберту Ивановичу Парасковья, – не побренгует. Хреновенький плетешок, да за ним затишок...

Сёстры возвращали руки на животы. Величественные, зобастые, как бомбы.

Но пробежали мимо Гуляшова и Кадкина из Сельхозтехники.

– Чего сидите-то, тетери? В «Промтоваре» на площади порошок дают!

И пожилые Ерошины сразу сдёрнулись. И заторопились. И в широких коротких платьях полные ноги их спешили как какой-то панический опорос.

Нина Ивановна тоже торопилась. Но не за порошком, а собираясь на работу. Торопиться, собственно, не нужно было, но Роберт Иванович всегда появлялся у потребсоюза без пяти девять, и можно было поздороваться с ним с крыльца библиотеки. Вроде как тоже только что придя и открывая ключом дверь. А может, и поговорить немного.

Соседи Колупаевы возились в огороде. Сгребали граблями ботву, выдёргивали помидорные палки. Нина Ивановна хотела прошмыгнуть к калитке, но Колупаева закричала: «Нинка, когда жениха заставишь в своем огороде работать? Вон у меня, вечером клавиши давит, а днем со мной работает. Как миленький!»

Муж-Колупаев с некоторых пор опять был изгнан из мужской школы. «Давил» теперь клавиши в кафе у вокзала. Зло выдёргивал сейчас палки. На жену не смотрел. Телогрейка на нём была как на зэке. «Эко – обиделся», – уже удивлялась жена, забыв про Нинку.

Нина Ивановна с облегчением заторопилась по Лесной. В плащике, перетянутая, как перевёрнутая рюмка.

Однако навстречу уже шли Кадкина и Гуляшова. Главные поселковые сплетницы. С порошками под мышками. И Нина Ивановна, шмыгнув в боковую улочку, побежала в обход. Почему-то в библиотеке все сразу забывают об её отношениях с Робертом Ивановичем. Никто никогда даже не заикнётся об этом. С книгами приходят всегда деликатные и даже слегка испуганные. Но стоит только выйти на улицу... Впро-

чем, от Дарьи не закроешься и библиотекой.

Конечно, Нина Ивановна опоздала. Роберта Ивановича уже не было возле потребсоюза, скрылся в своей бухгалтерии.

Приезжавшая летом мать говорила дочери: «Нина, ну за чем он тебе? Ведь глуп как тетерев! А? Где глаза-то твои?!» Дочь сразу нервно отвечала, что Роберт Иванович умный. Да, умный. Он просто ранимый, мама. Ему столько пришлось в жизни пережить. Если б ты знала!

Пенсионерка, бывшая преподавательница английского языка в мединституте не находила слов. В глазах её словно начинал мелькать ломкий хаос. Дочь быстро наворачивала ей манжетку. Капала в стакан лекарство. Носик её при этом пошевеливался. Походил на живую пуговицу. Был такой же, как у матери.

На рыбалке Роберт Иванович стоял у озера с длинным удилищем, как аист. Совершенно недвижно. Блаженно говорил маме Нины Ивановны: «Какая чудная картина природы перед нами развернулась, Зоя Николаевна! Прямо хочется жить и плакать!»

Пенсионерка посмотрела на него, но ничего не сказала. Довольно ловко подсекла своей удочкой ершишку.

А Роберт Иванович так и продолжал стоять аистом, казалось, ни разу даже не вытянув из воды лесу.

У костра, подавая в чашке почищенную рыбу, мать шепнула дочери: «А ведь этот человек вырос в деревне!..»

– Широка-а страна моя родна-я-а, – вдруг запел Роберт Иванович.

Мать и дочь выронили чашку...

Но потом были высокая, остановившаяся в озере лунная ночь, женщины и мужчина у пегих углей костра, две горбатые палатки, поставленные рядом...

Роберт Иванович спал очень тихо, за всю ночь не всхрапнул ни разу, и это почему-то несказанно удивило Зою Николаевну, так и не уснувшую рядом с посапывающей дочерью, беззащитно уткнувшейся ей под мышку.

На прощальном обеде она спросила у него, накладывая себе салат оливье:

– Почему вы пишите, Роберт Иванович?

Роберт Иванович перестал пилить мясо, ответил почти сразу:

– По непоборимой потребности моей души, Зоя Николаевна.

– Как это?

– Мне необходимо отобразить всю нашу роковую жизнь, окружившую в данный момент нас!

Зоя Николаевна посмотрела на дочь. Та сидела рядом с писателем. В белых шифоновых хризантемках на груди как какой-то подарок ему, как награда. Однако была краснень-

кой, всё время вытирала с лобика платочком пот.

Роберт Иванович спокойно отпиливал ножом кусочек мяса, потом тщательно пережевывал его. Уши его при этом двигались продольно. Как сёдла.

Мать снова переводила взгляд на дочь. А? Нина? Дочь опускала глаза.

Поздно вечером, когда прощались возле вагона, Роберт Иванович сказал:

– Я полюбил Вас всей душой, дорогая Зоя Николаевна! Какой хороший вы человек! И это всего за четыре дня!

Он чуть не заплакал, но разом закаменел.

Пенсионерка обняла, похлопала его по спине. Держись, парень, борись и дальше! Поцеловала дочь. Полезла в вагон. Проводница, лязгнув плитой, закрыла дверь.

Зоя Николаевна продвигалась по вагону. Бросила сумку в пустое купе. Встала у открытого окна. Дочь и «жених» стояли под окном, смотрели на неё. Поезд почему-то не трогался, медлил. Остановились закурить два железнодорожника. Один сделал другому из ладоней теплушку. Потом сам прикурил. Пошли дальше.

– В августе приезжай. Ждём с отцом, – сказала мать дочери, «жениха» даже не пригласив.

В свою очередь, дочь говорила, чтобы отец тоже приезжал в «Таёжную» этим летом. Отдохнул бы как следует. Походили бы за ягодами, на рыбалку. Верно ведь, Роберт Иванович?

Роберт Иванович нейтрально, но солидно подтвердил:

– Природа станции «Таёжная» благоприятно действует на организм пожилого человека.

Вагон, наконец, дёрнулся, поехал. Они сразу пошли за вагоном. Прощально махали. Убыстряли и убыстряли шаги. Ноги их словно уменьшались в длине, отставали от вагона. А туловища, наоборот, увеличивались, догоняли, были рядом, под окном. Зоя Николаевна, борясь с собой, плакала, махала платочком.

Поезд набирал и набирал ход. И уже спотыкалась за ним в редком лесу только что проснувшаяся помятая луна.

Из-за хлобыстинского леса солнце по утрам лавой падало на поле перед станцией. Будылья кукурузы восставали с земли разом. Как русское войско. Ручей ползал лазутчиком, вспыхивал, обнаруживал себя. Покатилась таратайка с лошадёнкой на Хлобыстино. На таратайке – бригадир Конов. Колотился прямо в солнце. Вспыхивал, обугливался как гвоздь с уже готовой шляпкой.

Сама станция словно пошевеливалась и потягивалась. Парила, отогревалась на солнце. Покрикивали проспавшие пестухи. Из дворов выходили коровы. За пастухом шли сами. Как за сельским мессией. Плащ на пастухе выгорел добела, полы болтались тряпками. Ненужный бич за спиной вёзся по земле.

Потом похмельно засипел гудок на станции. Пойманной птицей захлопался было селектор, но сразу умолк. К восьми потянулись рабочие в депо, к девяти служащие в деревянный вокзал. В нескольких учреждениях самого поселка открывались форточки, там начальники садились за столы.

Самохин, редактор местной газеты «Таёжные гудки», с утра уже посасывал таблетку. Он был пожизненный гипертоник. Он был как персик с грустными глазами. Он говорил напряжённо сидящему Роберту Ивановичу, что так, как пишет тот, писать нельзя, преступно. Прочитав какое-нибудь

предложение из рукописи, он начинал горько смеяться. Махался рукой. Казалось, с ним тряслось, смеялось всё. стакан рядом с графином, сам графин, товарищ Горбачев в раме на стене.

Из кабинета Роберт Иванович вышел с провалившейся душой. Вытирался платком. Но по коридору пошёл быстро, держа портфельчик на отлете, как беду.

В библиотеке Нина Ивановна отпаивала его чаем, а он сидел и никак не мог понять – что смешного в предложении «Когда мороз ударил по посёлку, дома огрызнулись куржаком». Что, Нина Ивановна?!

– Не ходите больше к нему, не ходите, Роберт Иванович! Он ничего не понимает! – почему-то вместе с Недобегой разом дурела и Нина Ивановна.

Отойдя немного душой, Роберт Иванович начинал ходить по тесной библиотеке и читать с листов в его руке наиболее удачные, как он считал, места.

– Ведь правда, Нина Ивановна, неплохо? Как вы считаете?

Нина Ивановна тут же соглашалась, но предлагала немножко подправить. Например, в предложении «Иван побежал к реке, подъегоривая себе», лучше бы, наверное, написать «Иван побежал к реке, подпрыгивая».

Роберт Иванович останавливался, думал.

– Суховато. Но пожалуй...

Пошлёпывал ножками через дорогу, в свою бухгалтерию, оставив листы Нине Ивановне. Чтобы она прошла по ним

*зорким* глазом. И Нина Ивановна сразу же приступала к работе. Сначала робко, а потом всё смелее и смелее вычеркивала, дописывала, правила. Благо, читателей в этот утренний час в библиотеке почти не бывало. Так, прогуливающий школьник какой-нибудь забежит, чтобы быстро пролистать журнал и исчезнуть.

В час дня, увидев, что Дарья пошла на обед, Нина Ивановна перебежала дорогу, отдала портфельчик с рукописью Роберту Ивановичу и так же шустренько прибежала обратно в библиотеку. И никто её не увидел.

Однако уже через десять минут Роберт Иванович пришёл возмущенный:

– Что вы сделали с моим произведением, Нина Ивановна?! Я доверил вам свой труд, а вы!..

Он даже ударил дверь, уходя.

Когда Золотова зашла после обеда в библиотеку, Нина Ивановна горько плакала.

– Я, я, Даша, ему, рукопись, а он, он мне, Даша!.. – икала Нина Ивановна.

Дарья в сердцах воскликнула:

– Да что за полудурок такой! Ни в п. . . , ни в Красную Армию!

Нина Ивановна вздрогнула от ругательства, ещё горше заплакала.

Большая Дарья гладила на своей груди горячую, как кипяток, головку.

А Роберт Иванович тем временем по-прежнему ничего не мог понять в рукописи своей. Словно в исчёрканном бурьяне!..

В детстве Нина Переверзева приезжала с родителями к бабушке в «Таёжную» каждое лето.

Когда десятилетняя Дашка Золотова в первый раз увидела городскую Нинку в посёлке – встала как вкопанная: девочка не шла, а танцевала. В коротком платьишке, как трюфель-фантик, тонконогая, как паучок. Так и прошла мимо разинувшей рот толстухи – беспечно поддавая ножками.

Рослая Дашка закрыла рот и тут же одёрнула деревенское рослое платье ниже колен. Платье из байки.

На другой день она стояла перед раскрытым двором Переверзевых и, ухватив в кулак острую штакетину, сердито покачивала весь штакетник.

Баба Катя Переверзева, таская на стол, посмеивалась:

– Нинка, никак к тебе гости пришли!

Отец и мать тоже повернулись к окну.

Нинка вышла к штакетнику:

– Чего тебе, девочка?

– Да ничего! – буркнула и ломанулась от неё Дашка. Да ещё побежала, оглядываясь.

На сеансе в кино «Железнодорожник» она умудрилась оказаться прямо за Нинкой и её родителями.

– Ха-ха-ха! – громко смеялась в темноте Дашка над головами всех троих. Её чуть не вывели.

После фильма она была ботинком угол киоска, где давно ничего не продавали.

Зоя Николаевна взяла её за руку и подвела к дочери. Дашка обиженно пошмыгала носом, но маленькую ручку Нинки пожалала. И даже хмуро назвала себя: «Я Дашка».

Теперь она ни на шаг не отставала от маленькой Нинки. По утрам городские всегда спали до девяти в доме у бабы Кати, но Дашка уже часов с семи покрикивала: «Нин-ка-а! Выходи-и!» Покачивала штaketник. «Нинка-а!»

Нинка появлялась на крыльце. Жмурилась на солнце, потягивалась. Сонная утренняя головёнка её походила на разбитое пичужкино гнездо. Трусишки были как на куклёнке.

– Ну, чего тебе?

– Айда на озеро. Договаривались же. Час уже ору, – радостно качала штaketник Дашка.

– Сейчас. – Нинка уходила завтракать. Звали всегда и Дашку, но та отказывалась.

На озере девчонки раздевались и какое-то время оглядывали весь поднебесный мир вокруг. Нинка была в ладном купальнике с цветочками, а Дашка в бабьих трусах в колено. Она всегда первая разбежалась и, как бомба размахивающая руками и ногами, летела в воду. Нинка гальяном булькала следом. Девчонки кричали, хлопали по воде, пуляли друг в дружку водой. Орала на весь мир. Потом плыли к противоположному берегу, чтобы полежать там на песке. Девчонки обе плавали хорошо.

На песке лежали, опершись на локти, загорали. Песок сыпался из кулачков как из песочных часов. Потом переворачивались на спину. Прикрывшись рукой, смотрели в небо. Высокое небо было всегда как океан...

Дома наблюдали, как баба Катя сливает воду из ведра в лейку – как будто плавное блестящее стекло. А потом хрусталем, хрусталем рассыпает по грядкам!

– Чего уставились? А ну-ка за работу! Вона сколько поливать!

Девчонки бежали в сарай за лейками и тоже поливали. Худенькая Нинка тащила полную лейку к грядкам, вся изгибаясь. Толстая Дашка с лейкой обращалась запросто. Поливая, перекидывала только с руки на руку.

На другой день с отцом и матерью Нинки пошли в Егорьев овраг по малину. Лазили в глубоком тенистом логоу, все улепленные паутинами, обирали с кустов спелую осыпаящуюся ягоду. На Нинке был спортивный толстый костюм с полосками, на Дашке – старшего брата комбинезон и кирзовые сапоги. Корзинки и туеса вчетвером заполнили быстро. Поели и попили возле холодной корневой бороды кедра, выстрелившего хвоей в небо. Только начали выбираться наверх, как дядя Ваня вдруг крикнул:

– Дашка, Нинка – смотрите!

Метрах в пятидесяти по отвалу оврага быстро карабкались медведица и три её медвежонка. От мощных лап медве-

дицы отлетали назад комья земли, и один отставший медвежонок совсем как человек брезгливо отворачивался от них. Однако тоже торопился, лез: куда ж тут денешься?

Семейство пропало наверху в кустах.

Дядя Ваня, отец Нинки, смеялся, а тётя Зоя, наоборот, стала бледной и торопила всех поскорей выбраться из опасного места.

Больше в Егорьев овраг не ходили. Но зато отправились вскоре в хлобыстинский лес по грибы. А там не опасно – дорога рядом, тарахтят всё время грузовики. Почему-то Нинка всегда набирала больше всех. Маленькая, шустрая, она бегала меж утренних, дымящихся под солнцем сосен, чертила треугольнички, квадратики, как какой глазастый живой кунчонок с палочкой в зубах. И маслята сами выбегали к ней, к её ловкому ножичку.

Потом тётя Зоя кричала:

– Нина, Даша, Иван! – домо-ой!..

И так бывало каждое лето с приходом Переверзевых в «Таёжную».

Лет с шестнадцати девчонки стали ходить на танцы. У них уже были кавалеры.

Танцы начинались часов с восьми в парке «Железнодорожник».

На эстраде работали три музыканта. Герка Колупаев (совсем пацан ещё тогда) давил клавиши. Электрогитара Гин-

збурга скакала и визжала, будто чёрт с хвостом. Валера Гушин ворожил на барабанае щётками.

В твисте Нинка дёргала к себе ножку, будто нитку с челноком. Дашка откидывала мощную свою ногу далеко, лягась ею как конь-тяжеловоз. Стелющийся во все стороны талец-твист напоминал тренировочный рукопашный бой.

Потом за эстрадой, на свету луны, Валера Гушин нежно целовал Нинкино лицо. Дашка с Гинсбургом лезла в кусты. Долго трещала там, словно никак не могла найти места. Гинзбург пугался, дёргался обратно, на свет.

После проводов и прощаний с парнями девчонки лезли на стайку Переверзевых, ложились там на приготовленные постели. Закинув руки за голову, долго смотрели на небесные звёздные города, на Млечный путь с его богатым песцовым хвостом.

Потом засыпали.

После десятого класса Нина Переверзева поступила в Библиотечный институт. Благополучно его закончила, стала работать в новосибирском библиотечном коллекторе. И проработала там больше десяти лет.

Был даже жених одно время. Но в 82-ом тяжело заболела, и жених растаял.

Сначала попала в больницу с воспалением лёгких. Но воспаление быстро опустилось ниже, и образовался гнойный плеврит.

Болела долго, тяжело. С высокой, неспадающей температурой, с рвущим лёгкие кашлем по ночам. За четыре месяца больницы были и нескончаемые уколы, и капельницы, и таблетки. Жесточайшие пункции в плевру, когда откачивали экссудат.

Недалёкий врач Колесов постоянно приводил в палату белые консилиумы. И врачи стояли над раздетой по пояс, поникшей Ниной Ивановной, важно погрузив руки в карманы халатов.

Были и другие равнодушные и участливые врачи и грубые и мягкие медсёстры. Была постоянная вонь боящейся сквозняков палаты. Властная старуха в ней, которая упала однажды прямо на пол и умерла. Была её дочь в коридоре на стуле, льющаяся как ручей...

Только летом температура стала бродить около 37-и, и Нину Ивановну выписали домой. Родители, даже не спрашивая, сразу повезли её в «Таёжную». На чистый воздух, к барсучьему салу, к прополису, пыльце, меду.

И Нина Ивановна ожила. «Одыбалась», как сказала бы покойная баба Катя. Пропала одышка, появился на щеках румянец, Нина Ивановна прибавила в весе.

С осени начала работать в школе, но уехала библиотекарь, и Нина Ивановна сразу перешла на её место, к своему привычному делу. Жила всё в том же бабушкином доме. Родители думали, что год-другой поживёт и вернётся, но дочь в Новосибирск не торопилась, приезжала к отцу и матери только в отпуск.

Дарья Золотова после десятилетки никуда не поступала. Хотя окончила её без троек. На выпускном сильно ударила Колупаева Герку, который её «соблазнил». Колупаев упал, серьёзно ударился головой. В милиции дело еле замяли. Помог участковый Гальянов, родственник Золотовых. Аттестат Дарье вручали хмуро, приватно, в учительской. Уходя, Дарья шарахнула дверью.

Со слезами мать устроила её в потребсоюз. Где Дарья была сначала счетоводом, а потом, как и Недобега в свое время, окончила курсы, стала бухгалтером. Работа не нравилась. Сотрудники казались Дарье мышами, от голода грызущими бумагу.

Пьяный Герка Колупаев с городским дружкой пришёл однажды свататься. Он уже окончил музыкальное училище, и у него был диплом. Он размахивал синей книжицей перед носом Дарьи и звал «в даль светлую». Пьяный дружок в каком-то помещицьем высоком картузе походил на насекомое, важнодвигающее на месте лапками... Дарья просто закрыла перед ними калитку.

В 80-ом двоюродная сестра сманила на Север. В посёлке Уренгой Дарья стала работать в небольшой гостиничке для нефтяников-вахтовиков. Горничной. В короткой юбке и кокетливом фартучке заправляла кровати. Широкою сдобною Дарью голодные нефтяники всегда встречали как торт – восторженным рёвом. Дарья не зло била по весёлым рукам, никого всерьёз не калеча.

Неожиданно для себя вышла замуж. За инженера Генкина. По вечерам часами смотрела, как Генкин с серьёзным лицом каплуна сидел над диаграммами, схемами, чертежами... Через месяц ушла. Генкин не возражал.

После Генкина были в эти годы у Дарьи и ещё два-три хахалька. Нефтяники с весёлыми руками. Но все они задерживались ненадолго. Уплывали как поезда со станции, быстро набирая ход.

Дольше других задержался очень злой на любовь ненец Коля. Местный. Из тундры. При нём Дарья даже научилась гонять на оленях, покрикивая по-ненецки и ловко орудуя

палкой длиною с версту. Но тоже: узнав про связь Коли с *толстухой Дарьей*, примчалась на оленях его жена в шкурах. Кружа вокруг гостинички, выкрикивала угрозы, грозила палкой. Однако когда Дарья вышла к ней, подбежала и разом заплакала – молодая, некрасивая, вогнутолицая, как миска – просила Дарью пожалеть детей. А их у любвеобильного Коли оказалось четверо... Дарья сама отшила ненца. Вскоре переехала в Новый Уренгой. Где работала ещё с год в речном порту на разных неквалифицированных работах.

В 85-ом приехала в «Таёжную» к умирающей матери. Которую вскоре и похоронила. На Север больше не вернулась. Родной брат с семьёй перебрался жить в Красноярск. Дом переписал на неё. Генкин в паспорте остался, и стала Дарья жить в доме том соломенной вдовой.

А потом приехал в «Таёжную» Роберт Иванович Недобега...

Когда он в первый раз вошёл в бухгалтерию вместе с Колпаковым, Золотова поспешно станцевала слонику вбок и радостно затрясла ему руку: «Золотова, Дарья Сергеевна, можно – Даша! Добро пожаловать, Роберт Иванович!» С восторгом смотрела на *молодого человека*.

Новый сотрудник почему-то сразу начал как-то горько смеяться. Как будто был больной. Как будто весь был больной внутри.

Дарья посмотрела на Колпакова: что это с ним, Федя?

Однако Федя молчал и только слегка покачивался. С пьяным носом, как с куском пемзы.

Приобняв, увёл работника к себе.

В обед Дарья побежала через дорогу. «Слушай. Нинка, – приехал! Шикарный мужик! Не пьёт, не курит! У Колпака не выпил ни рюмки!»

Упала на стул, затрясла на груди платье. Глаза её не вмещали события.

Нина Ивановна спокойно писала за стойкой. Маленькая и далекая, как капитан.

– А мне это зачем?

Карандашик ловко бросила в пластмассовый стаканчик.

Через неделю она сама восторженно рассказывала подружке, какой хороший Роберт Иванович читатель. Не мусликает

пальцев, не хлыстает ими по листьям. Представляешь! Сидел у меня за столом, вдумчиво читал весь вечер. Правда, почему-то только «Охотничье хозяйство». Четыре журнала прочитал. Узнай у него: не охотник ли он?

– Сама узнавай! – непонятно отчего рассердилась Дарья.

Ещё через несколько посещений бухгалтером библиотеки Нина Ивановна уже поведала подруге, что, оказывается, Роберт Иванович пишет. Писатель. Представляешь?

Дарья сразу разгадала загадку:

– Ах, вон оно что! Знаешь, о чём он спросил у меня вчера? – Помедлила: рассказывать или нет?

– Ну, ну!

– «Дарья Сергеевна, что чувствует полная женщина, такая как вы, когда кушает?» Ну, не козёл ли, а?

– Вот, вот, это нужно ему, наверное, для романа!..

Роберт Иванович стал приходить в библиотеку, но не часто. И читал теперь почему-то только журнал «Советский воин». Нина Ивановна предлагала ему новинки. Из «Нового мира», из «Знамени», из других московских журналов. Раскрывала страницы, показывала, называла авторов.

– Ерунда! Все подкуплены. – коротко сказал Роберт Иванович.

Странно. «Все подкуплены...»

– Но как? Каким образом? Зачем?!

Роберт Иванович только хмыкнул. Продолжил читать

«Советский воин».

Поджидая его теперь вечерами, Нина Ивановна сидела за стойкой допоздна. Однако говорила себе, что просто работает. Вот же: пересматривает каталожные карточки. Дописывает сам каталог. Подклеивает к новым книгам кармашки. Вкладывает в них книжные карточки.

При шагах на крыльце – вздрагивала. Но почти всегда входил пенсионер Предыбайлов и требовал *про шпионов*.

В десятом часу, топчась на крыльце, закрывала библиотеку. Посматривала вверх. Луны не было. В небе как будто висело седое дерево.

Переверзева, торопясь домой, оступалась в темноте.

В Новый год тюльпаны люстры в доме Нины Ивановны матово светились.

– С наступающим Новым годом, дорогие наши женщины! – сказал Роберт Иванович Нине Ивановне и Дарье Сергеевне.

Он стоял у стола и улыбался. Шампанское удерживал у бедра.

Пимокат Зуев скатал ему валенки в пах, и теперь Роберту Ивановичу никакой мороз не страшен. Сейчас он был в выходном костюме, заправленном в эти валенки.

– Извините!

Он кинулся в прихожую и стащил валенки. Быстро надел лакированные штиблетки тридцать шестого размера и вернулся в комнату. Шампанское поставил на белую скатерть. Как взнос. Только после этого дал усадить себя за стол. Ко всему его великолепию.

Приближалась полночь. Когда заговорил человек с уверенно-глупыми глазами проповедника – Роберт Иванович встал. Прослушал человека стоя. Болтнувшись, сразу заиграла Спасская башня. Ему сунули бокал. Пошли мерные чугунные удары. Женщины вскочили, начали пить. Роберт Иванович стоял. Вдруг запел: «Со-юз нер-руши-мый рес-пуб-лик свобо-дных!» «Рано, рано ещё! Роберт Иванович!

С Новым годом!!» А он всё пел. Его посадил на место только первый, оглушительно-протяжённый аккорд настоящего гимна. словно разом порушивший весь Новый год в комнате.

Женщины поздравляли его, лезли с бокалами. Он удерживал свой бокал у груди, словно удивляясь звону его. Дёрнул всё же шипучки. И задохнулся. «Бьёт однако!» Женщины смеялись, как бы говорили: привыкнешь!

Дарья всё время пыталась плеснуть ему в пустую рюмку водки – он всякий раз успевал прикрыть рюмку рукой. «Благодарю. Мне достаточно». Иногда только чуть-чуть отпивал шампанского. Хорошо, вдумчиво ел. Вроде как один за столом. Всего было много.

Говорил мало. Жевал. И прямо-таки наглядно думал. Двигались уши и вертикальные мускулы по краям лба. Большой ложкой Дарья черпанула и скинула ему на пельмени *кобру*. Жгучий соус. Чтобы вывести его как-то из ступора. Нормальные люди после Дарьиной кобры с минуту махали бы у рта рукой. Под хохот за столом. Этот – нет. Этот только кивнул. И стал спокойно есть пельмени, предварительно вымазав их Дарьиной коброй. И опять думать. С пошевеливанием ушей.

Вдруг заоглядывался, оценивая комнату: «Хорошо у вас тут, девушки. Чисто». И снова вернулся к еде и своим думам.

Внутренний истеричный смех уже душил Дарью, она еле удерживала его, но Нина Ивановна словно не обратила вни-

мания на последние слова Роберта Ивановича о комнате – всё подкладывала ему на тарелку и пыталась разговорить.

Потом от скуки женщины сдвинули стол и открыли танцы под проигрыватель. На удивление, Роберт Иванович тоже танцевал. Но странно. В аргентинском ядовитом танго он просто ходил и углублённо шмякал ножками пол. Один. Словно убивал тараканов. Потом скромно сидел в углу возле ёлки. Вроде зайки серенького. Который под ёлочкой недавно не очень удачно скакал.

Зато девушки в танго ходили классически. На манер паровозных тяг. Иногда Дарья откидывала Нину от себя на вытянутую руку, как марионетку, вновь припечатывала к себе, и девушки опять ходили, слаженно двигая руками и ногами. Кивнув на сидящего танцора, Дарья шепнула подруге: «Он глупый. А глупые все добрые». Принялась хохотать. Уже откровенно. Чуть не уронив подругу на пол.

В час ночи он вдруг засобирился домой. Женщины не поверили: как?! Роберт Иванович! Ведь новогодняя ночь! Бывает раз в году! Голубой огонёк идёт! завтра выходной! Оставайтесь!

Но через минуту он уже стоял перед женщинами опять в валенках в пах. Счастливый, как Дуня в поддутых штанишках.

– Ах, какой я чувствую прилив моих творческих сил! Нина Ивановна! Дарья Сергеевна! Я горы теперь сворочу! Не

иначе!

Он смеялся, когда шёл в прихожую одеваться. Как всегда диковато. Как всё тот же скалолаз, сорвавшийся и болтающийся над пропастью. Уже одетым в полушубок и шапку он так же замороженно смеялся во дворе. И на улице, идя вдоль штакетника. Он смеялся, проходя под высокими, густо обелёнными морозом деревьями. Как напуганный пожарный колокольчик, он смеялся и оглядывался под ошарашенной лунной!..

– Да он же ненормальный! Нина! – не чувствовала даже холода на крыльце раздетая Дарья (Нина запахивалась в шубейку.) – Он же выпил только полбокала шампанского!..

Женщины вернулись в дом. Женщины остались одни. Тянуче пели за столом. Потом грустили, подпершись руками. Дарья предложила позвать Колпака. Он опять сейчас без жены. Прижмёт что надо! Набрала номер. «Федя, ты?» Трубка яростно забурлила, забормотала что-то. «Пьяный в шишки, чёрт», – отложила трубку Дарья. «Эх, Нинка, как встретили Новый год, так его теперь и проведём».

Нина Ивановна чуть не плакала, тыкая белый сопливый гриб вилкою.

Поселковая почта находилась в двухэтажном деревянном домике с краю площади.

Если залезть по крутой лесенке на второй этаж – попадёшь в переговорный пункт, где в кабинке кричит в трубку клиент. Если скатишься обратно и откроешь в бревенчатой стене дверь – сразу увидишь трёх женщин в чёрных халатах, занятых за тремя столами почтовыми отправлениями. Их отделяет от тебя деревянная стойка с длинным стеклом.

Летними утрами почта грелась в солнце, как утренняя дощатая глухая голубятня со спящими ещё голубями. Но приходила главная «голубятница» Калинина, освобождала от ставен крайние два окна первого этажа.

И, увидев это действие, к почте сразу спешил Недобега Роберт Иванович. Оставлял на площади даже Ленина с ревматозной рукой, перед которым простоял, наверное, с полчаса.

Калинина смотрела, как писатель готовит папки на стойке, развязывает-завязывает тесёмки, уточняет на папках карандашом – Первая, Вторая – и не могла скрыть досады. Господи, ну чего ходит к нам! Сейчас начнёт опять учить, как нужно правильно паковать, завязывать. «Тщательней, тщательней, Вера Петровна! Не ближний свет – Москва!..» Придурок.

Калинина отходила с папками к столу. Готова бандероли,

отворачивалась от писателя. Но тот всё равно заглядывал, поучал.

Чтобы забрать газеты, входил на почту редактор Самохин. Увидев Недобегу, сразу поворачивал назад. Но, поборов себя, возвращался. Вставал за писателем к стеклу.

– И не надоело? – кивал на папки, которые Калинина уже опутывала бечёвками. – Ведь только время попусту, деньги...

Как коллеге, Роберт Иванович важно говорил, что у него уже семь ответов из семи журналов.

– И что?..

– Пока отрицательно. Но вода точит всю несокрушимость камня, Павел Семёнович!

Самохину смешно даже не было. После таблетки с побледневшими персиковыми своими щеками он печально смотрел на писателя. Возможно ли вылечить его? Лечат ли где таких?

С тоской переводил взгляд к окну. Словно долго искал ответ там, на улице.

По площади мимо Ленина таратайка Аксёнов на телеге. Лошадёнка, как всегда, бежала споро. Семицветно шла единственная на весь посёлок поливалка. Ливнем хлынула бабья очередь от «Промтовара». С гитарой в чехле, как с орудием, в музыкальную школу шёл разбираться Герман Колупаев, в очередной раз изгнанный из неё.

Чистота и грязь, – думал Самохин, глядя на шагающего надменного музыканта. Всегда одет с иголочки, лощёный,

как денди – и он же: пьяный, в резиновом фартуке, присаженный как кобылка, кривым окровавленным ножичком бьющий снизу орущего борова Гришку...

– Вот бы о чём нужно писать, уважаемый Роберт Иванович, – поворачивался Самохин. Но Недобеги возле стойки уже не было.

В библиотеке он торопливо говорил Нине Ивановне: «Смотрите, вот в этом месте письма они написали мне, смотрите, письмо с почты, сейчас дали, смотрите, вот в этом месте: «Нам очень понравилось ваше предложение: «Завивали, задували, не могли завить пургу сибирские снега». Видите, Нина Ивановна, они написали. Им понравилось. У меня много таких отзывов. Ещё до «Таёжной». Теперь мне надо только работать. Только много работать!»

Нина Ивановна стояла красная. Точно пойманная на нехорошем, на измене...

У себя Роберт Иванович долго не мог понять бухгалтерских бумаг на столе. Бумаги казались ему шевелящимися аэропланами. Дарья хмуро смотрела на начальника: Нинка, что ли, отшила, наконец?

Море было во все глаза. Море было во всё небо. Бездонный, напитанный солнцем, молочным румянцем ребёнка висел воздух. Внизу море звездилось парчой. Всё время кудрявыми динозаврами нарождались волны и боком-боком выцарапывались на берег и пропадали, растворялись в песке...

Роберт Иванович кинулся от телевизора, записал: «Море дьявольски смеялось! Как всегда!» Отошёл, продолжил ходьбу. Все-таки телевизор в доме – это здорово! Не перестаешь даже удивляться.

В кинозале, между Ниной Ивановной и Дарьей Сергеевной, Недобега сидел как в осаде, тем не менее поглядывал на пустое белое полотно, быстро записывал: «Все-таки киноэкран отличный соглядатай! Как много он знает!»

Погас свет, и ударили «Новости дня».

Весь киножурнал Роберт Иванович просмотрел спокойно. Но после него вдруг задёргал руку Нины Ивановны. «Папанов! Папанов!» Папанов не сказал ещё ни слова, а Недобега вскочил и громко засмеялся. Как бы призывая всех засмеяться тоже.

Сразу заспешила билетёрша Ляшева. Бубнящая, как базар. Роберт Иванович тут же вжался в кресло, замолчал. И, не найдя хулигана, Ляшева перестала бубнить только на сту-

ле своём.

С руками вразброс Папанов всё время бегал по вокзалу с большими чемоданами, как просто с двумя пустыми коробками. Весь зал покатывался. Роберт Иванович смотрел. Сказал Нине Ивановне: «Папанову, наверное, тяжело бегать с такими чемоданами. Он пожилой уже. Ему бы сдать их в камеру хранения. Удобно. Я бы сдал». Нина Ивановна опустила глаза, стесняясь за свой смех. Зато Дарья хохотала. И над бегающим за бывшими невестами и жёнами Папановым, и ещё больше над комментатором, пришипившимся рядом. Который вдруг тоже начинал смеяться, как когда-то она сама в детстве, будучи Дашкой Золотовой. Причём смеяться в полной тишине. И зал истерически рушился в хохот, всегда поддерживал заводилу. Да-а, Дарья не знала своего начальника. Почти два года просидела с ним в одной комнате и не знала. Честное слово.

Когда толклись со всеми из зала, Роберт Иванович старался смещаться вбок от потока, чтобы его не увидела Ляшева, бубнящая возле раскрытой двери.

Вышли на воздух, отираясь платками. Дарья сразу же отвернулась от двоих и пошла домой. Не слушала никаких протестов подруги. Просторные одежды свои уносила как знамена.

Тогда Нина Ивановна предложила Роберту Ивановичу отведать крошки. У неё, на Лесной. Всё приготовлено. Квас есть. Холодный. А, Роберт Иванович?

Недобега сразу согласился. Заширкал даже ладошками. В предвкушении заторопился за Ниной Ивановной. Белая рубашка его была вся в пятнах пота.

Однако возле штакетника Переверзевой – разом остановился. Не слышал уже, о чём говорит ему Нина Ивановна. Разом оглох. Глаза его стали безумными. Он повернулся и... пошёл домой. Чуть не побежал от дома Нины Ивановны. Крикнул только: «Я потом, Нина Ивановна! До свидания!» На ходу уже дёргал из заднего кармана брюк свой идиотский блокнот...

Нина Ивановна зашла во двор. Постояла. Потом зачем-то прошла в огород.

Упершись в край осклизлого сруба руками, долго смотрела в колодец. Потом швырнула колодезное ведро вниз, разбила и себя, и небо.

Нина Ивановна плакала. Просто лежала на диване и плакала. В тюле меж штор строил рожи солнечный свет. Во дворе Колупаевых лаяла Жулька. Потом сама Колупаева начала что-то выбивать: ватное одеяло или ковер. По двору закувыркалось эхо. Вредная Жулька всюду прыгала за эхом, видимо, пыталась укусить его в воздухе.

Вспомнилась почему-то спальня Колупаевых. Их супружеская кровать, высоченная, как эшафот. Ненасытная толстая Галька, наверное, заползала на неё. А Колупаев – обречённо запрыгивал. Как состарившийся джигит на пролетаю-

щую лошадь.

И ведь живут. Детей нет, ругаются, дерутся даже, а живут. А тут... Всё для него готова сделать. А он даже в дом боится ко мне зайти... Нина Ивановна снова начинала плакать.

К вечеру пришла Дарья. Увидела лежащую, даже не переодевшуюся подругу – сразу заходила по комнате:

– Долго он будет тебя изводить? Долго? Сколько ты будешь реветь из-за него?!

– Он не изводит. Он ранимый... – нежно сказали ей с дивана.

Дарья остановилась:

– Кто-о? Этот идиот – ранимый? Да он же выхолощен, он же как... как копыто, в которое бьют гвозди. Он же пустой! Без чувств, без эмоций! Да его же на лекциях надо студентам показывать! В мединституте! И ты к нему лезешь, унижаешься... Да гони его в шею из библиотеки!

– А ты? А твой Колпаков? – С дивана смотрели на Дарью нежные «мокрые броши». – А ты с Федором Петровичем?

Дарья сразу нахмурилась. «Там другое». И почти сразу ушла.

Как-то Дарья и Недобега спокойно работали в своей бухгалтерии. Было часов двенадцать дня. В окне колыхались листья, сквозь них пробивалось солнце.

Вдруг за стенкой что-то громко упало и покатилося. В кабинете Колпакова.

Дарья и Роберт Иванович вскочили и замерли.

Сразу же в бухгалтерию ворвался Колпаков, отбиваясь от маленькой женщины. Отбиваясь от маленьких её кулачков как от пчёл. Женщина разила кулачками точно: в нос, в лоб Колпакова, по ушам.

Роберт Иванович как размазался по стене, даже не думал броситься на помощь. Тогда крупная Дарья сказала:

– Ну уж этого нам не надо!

Схватила бабёнку за шиворот и выкинула в коридор. Закрыла дверь на ключ.

Бабёнка наскакивала на дверь, била в неё кулаками, кричала:

– Выходи, жирная сука, выходи! И тебя порешу! А, спряталась! – Вдруг саданула чем-то тяжёлым в дверь.

Дарья распахнула дверь, упёрла руки в бока:

– Ну?

Бабёнка бросила огнетушитель, покатила от неё по коридору, выкрикивала угрозы, матерясь на всю организацию «Потребсоюз». Из дверей никто не выглядывал. Огнетушитель припадочно катался по полу весь в пене. Дарья брезгливо оттолкнула его ногой. Подальше от бухгалтерии. Снова закрыла дверь.

Колпаков уже сидел на стуле, бормотал: «Ничего, ничего. Всё в порядке. Бывает». Он был весь исцарапан. Пемзовый нос его разбит. «Ничего, ничего. Порядок. Надеюсь, между нами?»

Дарья театрално развела перед ним руки: «Да какой разговор, Федор Петрович! Только между нами! Никуда из этой комнаты! Могила!» – «Прости, Даша, прости! – всё бормотал Колпаков. – Подвёл я тебя. Прости!»

Роберт Иванович сидел весь красный. Не знал, куда смотреть. Золотой лысеющий черепок его вспотел. Он его отирал платком.

А вечером Федор Петрович Колпаков находился у Дарьи. Сидя на стуле в майке и трусах, пел, по-студенчески затачивал на гитаре. Нос его был залеплен пластырем.

*Заливайся, пой, гитара, как в последний раз,  
Я сегодня словно пьяный вижу Вас...*

Дарья смотрела на него, подпершись ладошками, и не знала, что с ним делать. Неприкрытые ею груди в кружевном бюстгальтере походили на кексы.

Продолжая затачивать, Колпаков не без опаски поглядывал на тёмное незанавешенное окно. Опасался, наверно, оттуда камня.

Но над «Таёжной» в тот вечер висела чернота и тишь. Порёвывала только изредка маневрушка на станции, да заливались собачонки.

Золотова ворвалась в бухгалтерию:

– Роберт Иванович! Деньги привезли!

Главный бухгалтер заготконторы оторвался от работы, спокойно сказал:

– Ну, что ж, Дарья Алексеевна. Очень хорошо. Объявите всем.

Продолжил сличать цифры в бухах.

Золотова исчезла.

Кассирша уже сидела в закутке. Стоговала купюры. Все быстренько выстроились в очередь. Двадцать семь человек насчитывалось в организации Потребсоюз. Включая и подразделение её – заготконтору.

Два главных бухгалтера, Недобега и Зотов, как капитаны потонувших кораблей получали последними. Пока кассирша считала Зотову деньги, тот нервно ходил возле стола. Левая рука его не разгибалась в локте. Он двигал ею как пилорамой. Или крюком, которым хотят что-то подцепить. Быстро расписался, схватил деньги и пропал.

– Вот, Роберт Иванович, – пододвинула ведомость Недобега кассирша. – Распишитесь. Ровно за четыре месяца.

Оставалось ещё два часа до конца рабочего дня, но двухэтажный потребсоюз уже был пуст. Получив долгожданную получку, сотрудники разом разбежались. Кто в магазин по-

мчался, кто на базар, кто побежал с деньгами прямо домой. Внизу осталась только Семёновна. Вахтёр. Как всегда за столиком над развёрнутой едой, будто дожёвывала свое лицо. Она любила на дежурствах *закусить*. Приняла от Недобеги ключ. Пошла, заложила за ним дверь на брус. Снова жевала. При двух огнетушителях на стене.

С крыльца Роберт Иванович почему-то не уходил. Пробежал Влазнев из Сельхозтехники: «Роберт Иванович, деньги ляжку жгут!» – похлопал себя по карману. – Только надолго ль собаке блин, Роберт Иванович?» Роберт Иванович улыбнулся. Сошёл с крыльца. Хотел перейти дорогу и узнать, получила ли Нина Ивановна деньги. Давали ли в райисполкоме, где она их получает. Но... вынул блокнот и написал её золотым пером: «Люди, не забывайте Михаила Сергеевича! Поддержите его! Он один знает! Он один ведёт наш ледокол к свершениям и проявлениям ума. Сквозь бурю, лёд и холод! Не забывайте Михаила Сергеевича. Люди!»

Роберт Иванович пошёл по Профсоюзной в сторону дома. На глазах его были слёзы. Он оберегал блокнот у груди. Как что-то хорошее, чистое. Вышел на площадь: «Люди, не забывайте Михаила Сергеевича!..»

На площади вместе с чьей-то пьяной фигурой вяло поколыхивалось время. На лысине Вождя крутил свой бесконечный полоумный танец голубь.

Однако уже через минуту остановившийся Самохин с удивлением следил за Недобегой. Возле памятника Недобе-

га призывал пьяного мужика маршировать. Был лишь октябрь месяц, до праздника ещё три недели, облака над площадью тащило как грязные паруса, а маленький человек шагал вдоль сельского Ленина и показывал пьяному, как тот должен маршировать. Раз-два! Раз-два! Потом вдруг стал и замер. Будто в почётном карауле возле вождя. Или собираясь отдать ему почесть. В плечистом сером плаще, был перетянут поясом, как крест.

Пьяный погрозил ему пальцем. Однако пошёл с площади довольно бодро. Растопыренным раком.

Самохин покачивал головой, заходя в редакцию.

Не снимая плаща, Роберт Иванович дома долго сидел на кровати. Потом включил телевизор, хотел найти, посмотреть Съезд. Не нашёл. Сняв плащ и переодевшись в домашнее, пошёл на кухню. Вернулся с тарелкой творога и куском хлеба.

В телевизоре тем временем показывали американский старый немой фильм. Перевозимые заключённые на палубе парохода походили на возящихся полосатых тигрят. Стальными цепями были опутаны сплошь, как ожерельями... Перестав есть, Роберт Иванович ничего не мог понять: для чего они на палубе, куда их везут? А полосатые всё переваливались клубками, цепями утягивали друг дружку, казалось, просто весело играли на палубе. И весело шлёпали воду плечами высокие колёса, и белое слепое солнце бежало по воде,

не отставало от парохода ни на шаг...

Роберт Иванович отставил тарелку, раскрыл блокнот. Обнажил золотое перо... Ничего не смог написать! Ни слова! Не всегда, оказывается, телевизор мой помощник... Надо выключить его и дать отдых моему серому веществу. Слишком много на сегодня было всего. Переживания мои. Болел весь день за Страну.

За стенкой ругались Ломтевы. Муж и жена. Хозяева жилья Роберта Ивановича, оплачиваемого заготконторой. Плакал их пятилетний Валерка.

Роберт Иванович хмурился. Больше не буду у них покупать молоко и творог. Постоянно пугают Валерку.

С некоторого времени пятилетний Валерка Ломтев стал приходить к дяде Роберту Недобеге почти каждый день. Как к себе домой. Дядя Роберт подхватывал его под мышки и сажал на стул. Ставил перед ним *машину*. С уже вставленным листом. «Давай, Валерик!» И пальчики Валерки начинали мелькать как крючки. Быстро-быстро. «Машина» трещала как тетерев на току хвостом! Валерка резко обрывал и кидался к двери. «Отличная машина!» – успевал крикнуть ему вслед Роберт Иванович.

«Да гоните афериста в шею!» – кричала Надька Ломтева из огорода. – Роберт Иванович! В шею!» Роберт Иванович удивлялся: почему «афериста»? Да ещё и «в шею»?

Летними затихающими вечерами, после работы за столом, Роберт Иванович любил для отдыха выйти и посидеть на крыльце. «Аферист» сразу начинал нарезать неподалёку круги. Ножонки перемещали независимые штаны – как пароход на лямках. Роберт Иванович шмякал ладошкой о крыльцо. Валерка сразу подбегал и садился рядом. Так и сидели они и смотрели на далёкое маленькое солнце. Малышу, наверное, солнце казалось яблоком, висящим в красном сиропе в маминой банке на окне. Писатель выхватывал блокнот, заносил в него коротко, чётко: «Закат был как дьявол! Как всегда!» Потом гладил стриженую, немного стёсанную

назад головку Валерки.

Сам Ломтев, отец Валерки, мужик с глазами как у коня, был вроде бы промысловым охотником. В пивной на площади он рассказывал: «Сижу высоко на пихте, на слегах – жду. Луна – как сатана: всё видно. Снизу, с земли тухлятиной наносит – заначка медведя. Прикиданная им листьями. Ладно. Час жду, второй. Вдруг слышу из оврага треск. Ветки ломаются. Идёт, значит, карабкается Миша. Мама моя! Да их двое! Двухлетки к пихте выкатились! Но здоровенные оба. И уже листья раскидывают. Уже урчат, мясо тухлое жрут. Тут я свою промысловку осторожно опускаю, целюсь в крайнего – и жаканом его бац! Миша отпрыгнул от собрата. С изумлением. Мол, ты чего дерёшься, козёл? Кинулся и раз! раз! его по башке лапой. И пошли они драться! И заревели! И пошла у них драка! И покатались клубком в овраг!...»

Возвращаясь после таких «охот» домой, Ломтев, наверное, бывал зол как чёрт. Потому что жена его Надька сразу же с воплями скакала по огороду к соседям уже в порванном платьишке, удёргивая за собой орущего Валерку. Сам медвежатник из дома не выходил.

Несколько раз Надька приходила к Недобеге. Молчком садилась в прихожей на табуретку. Подминала под табуретку ножки. Молодое, но спекшееся на огороде личико её было изрезано тонкими морщинками.

– Что, опять гонял? – спрашивал Роберт Иванович, оторвавшись от своей работы.

– А вы будто не слышали! – обижалась Надька.

– Так ведь не пьёт. Вроде трезвый. Зачем это ему?

– Ревнует, – вздыхала Надька.

– К кому?!

– Ко всем. И к вам тоже.

Ну, уж это! Роберт Иванович не находил слов.

Надька просила посодействовать, повлиять на мужа.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.